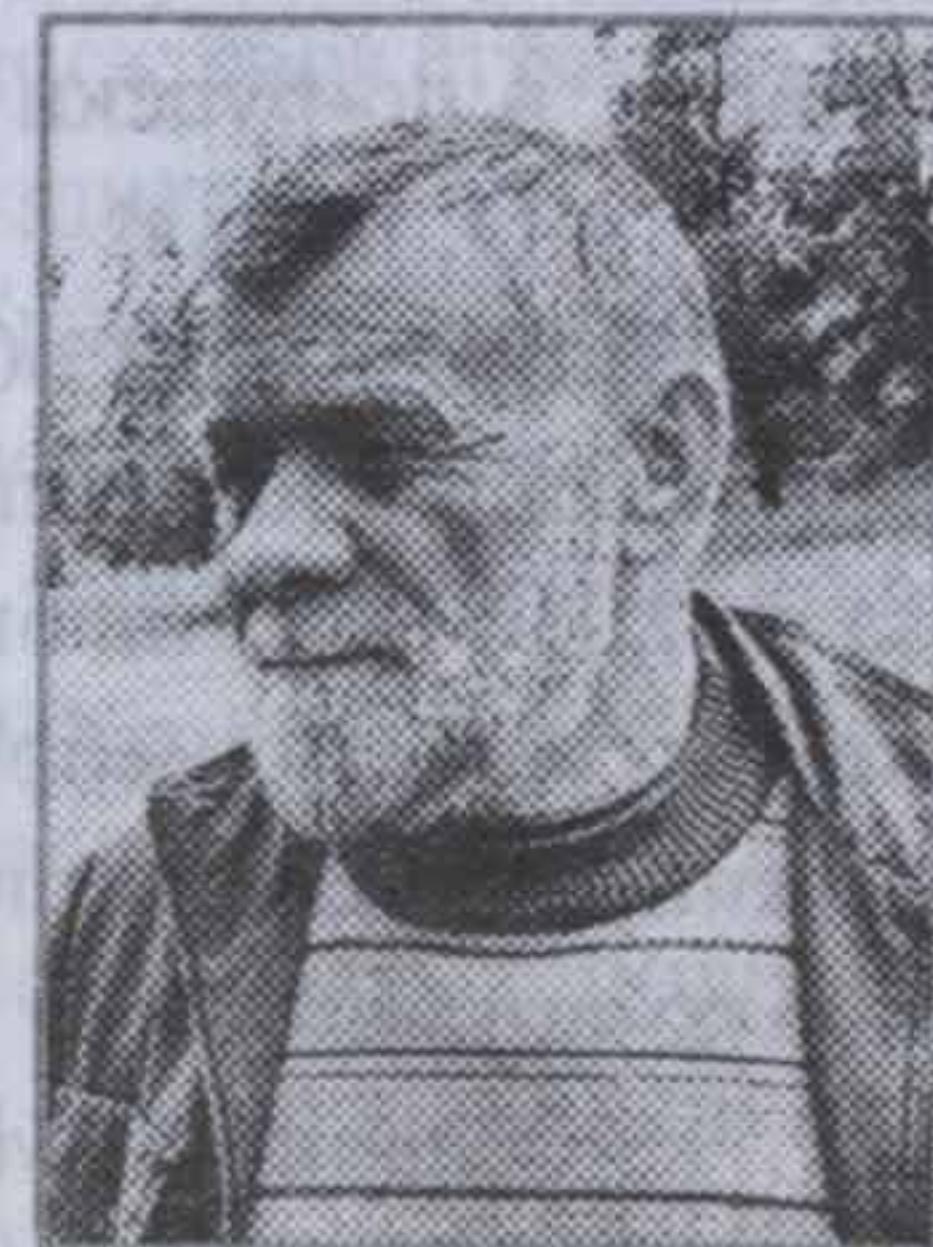


# Лауреаты премии имени Л. Завальняка

**От редакции.** Мы продолжаем публикацию новых произведений победителей учреждённой в прошлом году литературной премии имени Леонида Завальняка. Владислав Лецик, первый лауреат премии, представляет на суд читателей автобиографическое повествование, в центре которого – «лихие девяностые», «мучительно сладкий труд» овладения рассказчиком английским языком. Лауреат премии нынешнего года Александр Маликов воссоздаёт реалии ещё более далёкой от нас эпохи «оттепели». «Юбилей с долей грусти» посвящён событиям 60-летней давности, обернувшимся разгромом, закрытием единственного тогда в Приамурье литературного альманаха.

## Владислав ЛЕЦИК

выпускник БГПИ 1967 г.,  
член Союза писателей России



## АМЕРИКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

### Заметки о четырёх встречах

Читаю и перевожу со словарём.  
(Графа из анкеты)

#### 1. Проповедники

Был объявлен День Нептуна, и мы вдвоём с шестилетним сыном Ваней отправились на набережную Амура. Этот морской праздник в Благовещенске проводился впервые: ещё одно новшество в бестолковой череде больших и малых перестроек новых новшеств. Катились к концу июль 1991 года, и никто не знал, что это последний июль советской эпохи. День был жаркий. На Амуре, изрядно обмелевшем, мы увидели украшенный цветными флагами катер, стоявший на якоре далеко-важе от берега, – бывший военный, голубовато-серый, со снятой пушкой, – а возле него на мелководье развились полуголые ряженые. Брызги, визг, музыка, чей-то жестяной голос, отрывисто лающий из рупора... Издали смотреть на всё это мероприятие было не так уж интересно. Мы спустились к песчаному пляжу, искупались и пошли домой.

Когда поравнялись с универмагом – уже рукой подать до нашего дома, – я мельком заметил на краю тротуара, в тени карагача, группу смуглых молодых людей, оживлённо болтающих не по-русски, и рассеянно подумал: армяне. К концу перестройки кавказцы в городе встречались сплошь и рядом. Мы уже миновали их на несколько шагов, когда вдруг Ваня сказал:

– Папа, они говорят по-английски!

– Да? – Я остановился и оглянулся на этих молодых людей. Парень и девушка сидели на бордюре, сваренном из выкрашенных красной краской железных труб, рядом стояли ещё два парня. Все в джинсах, футболках, кроссовках, все черноглазые, черноволосые. Я вспомнил:

ся в их разговор: а сын-то, кажется, прав... Он в свои шесть лет знал уже сотню-другую английских слов, в основном названия животных. «Ваня, как по-английски «слон»?» – «Элефант». Схватывал он легко, да беда в том, что из меня учитель был не бог весть какой...

– Ну-ка, Ваня, подойдём...

Мы подошли. Молодые люди выжидательно замолчали.

– Are you speaking English? – спросил я, гордясь тем, как толково сформулировал вопрос. Банальное «ду-ю спик инглиш?» звучало бы глуповато: разве и так не ясно, что «спикать» они умеют? Мой вопрос имел более корректный, уточняющий смысл: «Вы – в данный момент – на английском разговариваете?»

– O, ye-e-es! – весело протянула девушка – кругло-лицая плотная смуглышка, вставая с бордюра.

– Where are you from? (Откуда вы?) – загарцевал я на чужом необъезженном языке, стопроцентно рискуя вылететь из седла. – Canada? America?

– O, yes, America. Los Angeles. University of California.

«Калифорнийский университет» – мысленно перевёл я и понимающе кивнул:

– So you are American students? (Так вы – американские студенты?)

Девушка и парни тоже закивали: ёс, ёс. Ваня стоял рядом со мной и с любопытством разглядывал иностранцев. Был он в те годы белокурый, кудрявый, большеглазый. Девушка с растроганной улыбкой наклонилась к нему и спросила:

– What is your name, honey? (Как тебя зовут, милый?)

Сын понял вопрос и сразу ответил. А поскольку я ему когда-то объяснил, что Иван по-английски Джон, а Ваня – Джонни, он так и сказал:

– My name is *Dжонни*.

То есть в простоте душевной выговорил чужестранное имя с самым что ни на есть русским произношением. Девушка, разумеется, не поняла, и я на своём лихо гарцующем английском поспешил прокомментировать:

– He says *Johnny*. But it's English style. In Russian his name is *Ваня*. (Он говорит: «Джонни», но это по-английски. А по-русски его имя Ваня).

– О, Ваня! – И девушка протянула ему пластик жвачки в цветной обёртке. Американская жвачка в то время была у нас большая редкость, молодёжь гонялась за ней. Но Ваня не был падок на чужие подарки, он повертел жвачку, небрежно сунул её в карман коротких штанишек и с достоинством произнёс «большое спасибо» по-английски:

– Thank you very much!

Американцы засмеялись. Смуглёнка всплеснула руками:

– You are welcome! (Пожалуйста!).

Знакомство продолжилось. Я назвал своё имя – Слава (снисходительно рассудив, что выговорить «Владислав» им будет не под силу). Один из парней представился как Эрик, другой – Рич, третий – забыл уже как. А вот у девушки имя было – Наз. Кажется, не английское. Да и сами они были как-то не очень похожи на англосаксов... Ладно, поехали дальше. Я поднапрягся и вспомнил подходящую фразу:

– What's the purpose of your visit? (Какова цель вашего визита?)

Наз стала отвечать – охотно и, очевидно, обстоятельно. И Эрик несколько слов добавил, и другие двое тоже что-то вставляли... Увы, моё гарцевание кончилось, чужой норовистый конь сбросил меня, я беспомощно забарахтался в стремительном потоке иноземных слов. Ничего не успевал разобрать. Они протянули мне тоненькую брошюру на русском языке. Религиозную. Какая-то вера бахаи. Никогда не слышал о такой. Но вот в их речи мелькнуло понятное – «дом молодёжь». Извиняясь за свой плохой английский, то и дело переспрашивая, я понял: американцы – человек пятнадцать, в основном студенты – приехали проповедовать эту самую веру бахаи, у них выступление сегодня вечером, в шесть часов, в Доме молодёжи, и они меня туда приглашают. Вход свободный. Я сказал: приду (I'll come).

Брошюру я дома бегло просмотрел – скорее из вежливости. Оказалось, что религия бахаи довольно молодая, её основал в девятнадцатом веке иранец Бахаулла, о котором с уважением отзывался Лев Толстой. Бахаи благожелательно настроена ко всем прочим верам, она признаёт и Моисея, и Будду, и Кришну, и Христа, и Магомета как пророков единого Бога, а самым главным почитает единство человечества и мир во всём мире. То есть бахаисты – это не какие-то там сектанты-изуверы, а люди приличные, и дай им, как говорится, Бог. Меня, признаётся, мало интересовали вопросы веры.

Надежда – вот что шевельнулось во мне. Сильно запоздалая и, в общем-то, несерёзная, не слишком приличествующая дяденьке средних лет, но тем не менее...

Английский нам в школе преподавали с пятого класса. Зубрить грамматику я не любил, но читать и переводить тексты было для меня наслаждением, а в ходе чтения усваивалась как-то и грамматика. Учительница ставила мне одни пятёрки. (Тут, конечно, хвалиться нечем: теперь-то, в эпоху сплошных зарубежных туроров, ни для кого не секрет, что в смысле настоящего знания языка школьная пятёрка мало отличается от двойки). Не скажу, что наша англичанка интересно вела уроки, но это было не так уж важно: интерес к английскому был фонтаном во мне самом. Наверное, она не очень-то и язык знала. Зато надо отметить, что она была красивая, и я, двенадцатилетний шкет, видимо, слишком восхищённо плялся на неё: помню, как-то она случайно поймала мой взгляд, и на лице её мелькнула мгновенная, безотчётная, но такая по-женски победительная улыбка. Муж у неё был машинист паровоза и, поговаривали, колотил её по пьянке. Мне было обидно за неё.

С седьмого класса «инглиш» стал у нас вести молодой человек, только что окончивший пединститут. Высокий, светловолосый, нос горбинкой – ни дать ни взять иностранец. Мы звали его Чанин (сокращение от «англичанин»). Девочкам он нравился. Уроки Чанин вёл ничуть не интереснее прежней англичанки. Она, когда класс шумел, тоненьким голоском кричала: «Stop talking!» («Прекратить разговоры!»), и он на первом же уроке выкрикнул, хотя и не тоненько, то же самое «стоп токин». А когда все притихли, он обвёл класс сердитым взглядом и, заметив какое-то движение, рявкнул: «Stop stirring!». Такого выражения мы прежде не слыхали. Чанин тут же дал его вольный перевод, сурово чеканя каждое слово:

– Прекратить! Всякие! Шевеления!

Мне он тоже ставил пятёрки. Но однажды мы на уроке читали вслух по очереди текст из учебника: кто-нибудь вставал за партой и, спотыкаясь, тягомотно бубнил одно или два предложения, потом Чанин поднимал другого, третьего... Все по строчкам следили за чтением. А я, услышав чей-то очередной ляп в произношении, стал по этому поводу остроумничать с девчонкой за соседней партой. Она не выдержала и расхохоталась. Чанин громко назвал мою фамилию, я вскочил и стал читать – чётко, гладко, самоуверенно, да оказалось, что не с того места. Он прервал меня:

– Садись! – И злорадно прошипел: – Е-ди-ни-ца!

Слово это выползло из его рта по слогам, извиваясь, как змея. Я сел ошарашенный. У меня, круглого отличника, и троек-то не было, а тут вдруг – «кол»...

А он ещё протянул с уничтожающим сарказмом:  
– Арти-и-ист!..

Я, конечно, был обозлён. И не столько даже единицей, сколько «артистом» – это словечко меня почему-то ужасно заело – и запомнилось, как потом оказалось, на всю жизнь...

Тем не менее через месяц, поостыв, я подошёл к Чанину и спросил, не найдётся ли у него каких книжек на английском. Он пожал плечом: найдётся. И принёс мне тоненькую книжицу рассказов Конан Дойла, адаптированную для школьников, снабжённую словариком, с пояснением трудных мест. Я быстро одолел её и, возвращая Чанину, спросил, читал ли он настоящие книги, не адаптированные. К его чести, он не стал важничать, сказал, что прочёл всего одну – роман «Тропою грома». «Толстый?» – «Вот такой», – показал он пальцами толщину сантиметра в два. «Ух ты!» – с завистью подумал я. Сейчас мне понятно, что суворость Чанин на себя только напускал, а в общем-то был парень добродушный. Как человек – добродушный, а как педагог – довольно равнодушный. Он потом уехал служить в чине лейтенанта на Тихоокеанский флот – переводчиком, разумеется.

Через два года, будучи уже слесарем паровозного депо и учеником десятого класса вечерней школы (где, кстати, иностранного языка не было), я купил в нашем книжном этот самый роман Питера Абрахамса о любви негра и белой девушки (книжка была не новая – не Чанин ли её и сдал в магазин, уезжая из нашего маленького пристанционного городка?) и с помощью словаря довольно быстро, недели за три, прочёл. И почувствовал торжество: преподаватель-то учился языку в институте, а я – простой слесарь...

А потом полетели годы. Я время от времени – порой с перерывами на несколько лет, – возвращался к своему юному увлечению языком. Иногда открывал самоучитель – разобраться с грамматикой, – но тут моего прилежания надолго не хватало. Зато с упоением читал книги на английском – Кронин, Уайлд, Конан Дойл, Моэм, Хемингуэй. Конечно же, поминутно заглядывая в словарь. Это был мучительно сладкий труд, полный восхитительных открытий. Вообще, язык – это ведь чудо. Два языка – два чуда. Они сталкиваются в твоём мозгу, в твоём внутреннем мире, – и от этого столкновения сыплются искры и исходит сияние. Два чуда красуются друг перед другом, похваляются, соревнуются, то посмеиваются одно над другим, то завидуют одно другому. И всё это завораживает тебя, когда ты пробираешься сквозь иноязычный текст.

В ходе чтения, пусть и крайне нерегулярного, мой словарный запас помаленьку рос. Что-то забывалось, но что-то и оседало в памяти. Когда случалось читать детективы – Агату Кристи, американцев, – я, увлечённый интригой, иногда нетерпеливо проглатывал по нескольку страниц подряд совершенно без словаря: процентов на семьдесят текст понимал – и ладно.

Новые слова и выражения старательно произносили вслух. Произношение звуков отрабатывал по скучным комментариям, приведённым в словаре Мюллера. Сам себе был учитель и экзаменатор. Тихо сам с собою... В этом-то и состояла главная беда. Не было у меня собеседника. Не было и никаких, ныне всем доступных, аудио и видеоуслуг для обучения. Слушая зарубежных рок-певцов или ловя английскую речь по радиоприёмнику, я почти ничего не понимал, хотя мне наверняка были известны многие из звучащих слов. Глазами – в буквенном виде – я их знал. А ушами – не узнавал.

И это была моя великая досада.

Но почему досада? Ни в работе, ни в повседневной жизни мне разговорный английский не был нужен – с кем говорить-то?

Может, я хотел поездить по свету, побывать в той же Англии?

Ха-ха! В те-то годы – шестидесятые, семидесятые, даже восьмидесятые? Ещё раз ха-ха! Надо было жить в те времена, да ещё в провинции, чтобы понять: о таком даже не мечталось. Хотя не особо и жалелось: своя страна была как целая планета – её бы хоть объездить...

Нет, дело было в другом. Угнетала ущербность моего книжного английского, не подпитанного живым общением. Хотелось встретить тех, для кого он был родным, и разговаривать, разговаривать – взахлеб и подолгу, целые дни и недели подряд. Расспрашивать о подробностях жизни *там*, самому рассказывать о подробностях жизни *здесь*: вся острота и прелесть жизни – в повседневных мелочах, отражённых в живом слове. Вникать в тонкости речевого строя, выговора, интонаций. Узнавать обиходные словечки, улавливать шутки и хохмы, самому шутить и дурачиться... И так ли уж велика разница, где это языковое пиршество будет происходить – в Шотландии, в Техасе, в Сиднее или под сенью родных осин? Главное – овладеть чужим языком, этим чужим чудом, сделать его своим. Моим. Всё моё ношу с собой!

Но годы уходили, а возможностей пообщаться с настоящими англичанами и американцами не представлялось. Я свыкся с мыслью, что всё это пустые мечты.

И вдруг – такая встреча. Неужели в мои сорок пять, чуть ли не на пороге старости, мне наконец выпал шанс?

Было ещё по-дневному жарко, когда я пришёл в Дом молодёжи. В большом зрительном зале с занавешенными окнами и зажжённым электричеством тоже было душновато. Народу собралось немало – в основном парни, девушки, подростки.

Здание принадлежало комсомолу. Совсем недавно здесь проходили съезды, слёты, чествования молодых победителей социалистического соревнования, в фойе вывешивались яркие плакаты и лозунги, на празднично украшенной сцене шли торжественные концерты. Теперь всё тут вызывало ощущение какого-то запустения. Сказывались несколько лет перестройки – времена идейной неразберихи и бюджетного безденежья, когда было не до ремонта или хотя бы капитальной уборки. Комсомольские секретари, замы и завы оперативно ковали деньги – в свой карман, разумеется, – задвинув идеологию куда подальше. Они открывали видеосалоны, где зритель за два рубля смотрел порнуху, и в то же время сдавали клубные помещения в аренду всякого рода религиозным проповедникам. И Бога, и сатану вожаки комсомола запрягли в одну упряжку и гнали её по неведомой, но манящей дороге первоначального накопления капитала.

Впрочем, я, сидя в заполненном молодыми людьми зрительном зале, таким язвительным размышлением не предавался. Я смотрел на сцену и вслушивался.

Американцы рассказывали о религии бахаи. Всем им было лет по двадцать с небольшим. Кроме смуглых и брюнетистых, таких как уже знакомые мне Эрик, Наз и Рич, были там и светловолосые парни и девушки. Переводил за ними русский студент – длинненький вертлявый парнишка по имени Саша. Скажет американец или американка одну-две фразы в микрофон, а Саша сначала громко протянет: «А-а-а!..» – не потому, что ему вдруг станет больно или щекотно, а просто у него привычка так сосредоточиваться, и через секунду-другую бойко отчеканит русский перевод, пританцовывая от усердия ногами в американских кроссовках.

– The earth is but one country, and mankind its citizens! – говорит в микрофон высокий студент по имени Майк.

– А-а-а! – громко соображает Саша. – Земля – это единая страна, а все люди – её граждане...

Да, переводил он здорово, чего не скажешь обо мне. Я опять почти ничего не понимал. Уловлю знакомое слово и пока уложу его в свою черепную коробку – все остальные слова, глядишь, уже прошмыгнули мимо уха неопознанными. Вот вышла к микрофону смуглянка Наз, минуты две о чём-то говорила, энергично жестикулируя, и в её речи мелькнуло несколько раз слово «бокс». Я опешил: девушка – да вдруг про бокс?.. Но Саша, громко простонав своё «А-а-а!», выдал перевод, и оказалось, что я не так воспринял гласный английский звук: не «бокс», а «букс» («books») – «книги»: Наз объясняла, что желающие могут взять бесплатно брошюры о религии бахаи.

Всё происходящее на сцене в моём представлении мало походило на религиозную проповедь. Никакой патетики, никакого воздевания рук к небу. То, что говорили эти калифорнийские студенты, было обращено не к мистическим струнам души, а скорее к здравому смыслу. У нас один Бог, и поэтому не должно быть вражды между разными религиями. У нас одна планета – и поэтому не должно быть войн, расизма, неравенства между мужчинами и женщинами, пропасти между богатыми и бедными... Кто ж с этим будет спорить? Американцы то и дело отпускали шутки, делали попытки обращаться к залу по-русски, срывая смех и аплодисменты. Эрик вышел к микрофону и под аккомпанемент гитариста запел:

Imagine all the people  
Living life in peace...  
(Представь себе, что все люди  
Живут мирной жизнью...)

Среди зрителей английский знали, возможно, единицы, но песню Леннона многие слышали не раз – Битлы были невероятно популярны, – и кто-то даже стал подпевать, то есть с энтузиазмом мычать, отбивая ладонями ритм... Не думаю, что молодёжь в зале слишком уж вникала в постулаты новой веры, однако бахаистов она принимала восторженно: такие весёлые, такие раскрепощённые, а главное – такие на них иностранные футболки, джинсы, кроссовки! Сплошь «фирма», которая у нас кучу денег стоит...

А я приуныл: скучноватой оказалась языковая практика. Уходя, узнал, что американцы будут тут ещё два-три дня, и решил назавтра снова прийти сюда, благо у меня начался отпуск. Дома рассказал Наталье про свои впечатления, и она предложила:

– Давай пригласим их на ужин.

Это была мысль! На другой день я с утра пораньше съездил на автобусе на садовый участок за овощами и ягодой – надо же было чем-то иностранцев угостить, – а попутно в сосновых посадках набрал целый пакет отборных молоденьких маслят: прямо скажем, повезло! Потом, по дневной жаре, пошёл в Дом молодёжи. В зрительном зале было пусто, но со стороны сцены – тоже пустой – доносились весёлые крики. Я поднялся на сцену и прошёл в заднюю её часть. Там, среди пыльного закулисного хлама, стоял батут, и на нём самозабвенно прыгали и кувыркались, радостно вопя, господа религиозные проповедники Эрик и Рич в компании переводчика Саши. «О гад!» – взвизгнул Саша, завершив отчаянный кувырок. А мне уже было понятно, что это не ругань по-русски, а восторг по-английски. «Гад» – это то, что пишется «God», то есть «Бог, Боже». Так что я вчера не зря мозолил себе уши чужой речью – хоть чуть-чуть, да начал привыкать к ненашенским звукам.

Ребята спрыгнули с батута, я на своём самодельном английском пригласил их после вечернего выступления на ужин. Сказал Эрику: может, ещё кто-нибудь из ваших захочет прийти? Мы все вместе вышли наружу. Возле Дома молодёжи несколько американцев общались с толпой окруживших их мальчишками и девчонками. Переводчицей была русская девушка – видимо, студентка инфака. Эрик повторил моё приглашение. Кто-то сказал: приду, кто-то: не смогу, кто-то: может быть. Я потолкался там ещё минут пятнадцать – для тренировки ушей и языка. Невысокая рыжеволосая американка по имени Сабина (Саша звал её Сабочкой) раздавала пластики жвачки, подростки брали их с восторгом. А меня вдруг так и подмыло пошутить – в тогдашнем пьянящем, безудержном духе покаяния и открытости. Выдать этакую национальную самоиронию. И я с важной миной сказал Сабочке по-английски:

– Мы в России не делаем жвачку. Это слишком сложно. Гораздо легче делать танки, пушки, ракеты.

– O yes, yes! – одобрительно улыбнулась раздавальщица жвачки, дав понять, что оценила мою остроту, и я, довольный, отправился домой. Правда, отойдя несколько шагов, почувствовал себя неловко: будто во всеуслышание ляпнул что-то не то. А что, собственно, не то?..

Чувство неловкости мелькнуло и пропало, но память о нём осталась.

Вечером выяснилось, что многие из приглашённых прийти не могут или не хотят. Да оно было и к лучшему: большое число гостей мы бы и не смогли толком угостить. Со мной пошли четверо – Эрик (старший группы), Наз, Рич и Саша-переводчик.

Ваня показал гостям свои игрушки – маленьких пластмассовых львов, черепах, динозавров, – называя каждую по-английски, чем вызвал смех и восторг, но по-

том застеснялся, ушёл играть в свою комнату. А Наталья позвала всех к столу.

И званый ужин состоялся. Без разносолов, конечно: в продуктовых магазинах полки тогда стояли пустые. Но был борщ (хоть и без мяса, но на мясном бульоне), была яичница, немного молодой отварной картошечки с укропом, сметана, огурчики свежие, зелень. На десерт – малина. Я всё, что ставилось на стол, громогласно называл по-английски. Юные проповедники всё уплетали за обе щёки, кивая хозяйке: «Тэйсти!» – «Вкусно!» К чаю Наталья подала каждому в отдельной вазочке свежесваренное смородиновое варенье. «Джем!» – объявил я. Потом подумал: джем-то, во всяком случае магазинный, – он же густой, как солидол, а наше варенье – жидкое, и поспешил пояснить: это самодельный (хум-мэйд) джем, и потому он такой жидккий (ликвид). Но гости и с самодельным расправились за милую душу, и от добавки не отказались.

Правда, был один небольшой прокол. Когда я в начале ужина хлебосольным жестом указал на свою гордость – блюдо с жареными маслятами – и объявил: «Машрумз!» («Грибы!»), американцы почему-то не выказали заинтересованности, а Наз переспросила: «Mushrooms?» – и отрицательно покачала головой. Никто к маслятам не притронулся. Я был обескуражен. Мы тогда ещё не слыхали, что грибы способны накапливать в себе всякую вредную дрянь, а американцы, видимо, уже были на этот счёт просвещены. Мол, бережёного Бог бережёт – или как там у них говорится.

Кстати, о Боге. Я поначалу опасался, что бахаисты будут донимать нас беседами о своей вере, а я такими вещами всегда тяготился и, когда на улице меня останавливали бабушки в платочках с религиозными брошюрками, спешил деликатно отделаться. Но нет – разговор был самый непринуждённый, гости расселись после ужина кто на диване, кто в кресле, кто на стуле, и мы болтали о том о сём. Они были молодцы: раскованность и вежливость в них сочетались органично. Я говорил без умолку – со всеми по очереди. Меня они понимали без затруднений, а вот я вынужден был почти всякий раз переспрашивать, просил говорить помедленней. Но тем не менее обходился без переводчика. Даже сам переводил их ответы и реплики для Натальи. Переводчик Саша, впрочем, на невостребованность не сетовал, сидел себе в уголке и листал книжки.

А книжек у нас в квартире, как и у многих рядовых советских интеллигентов, была уйма: только в гостиной две стены занимали книжные полки. Окинув их озадаченным взглядом, Эрик спросил: «Вы все эти книги прочитали?» – «Most of them (Большинство)», – скромно ответил я. Он удивлённо покачал головой. Я сразу вспомнил неоднократно слышанное: что в Америке не принято держать дома много книг, да и много читать не принято. Но скоро пришла и моя очередь удивляться. В гостиной на подставке громоздился сундуковатый «Рубин», и мне, как хозяину, включить бы его хоть ненадолго, для оживляжа, так сказать, да он как раз не работал (наши цветные телевизоры в году по два раза требовали ремонта). Я извиняющимся тоном пояснил, что это цветной

телевизор, но он неисправен. Да ничего, мол: у нас там, в спальне, есть чёрно-белый, этого достаточно. Эрик кивнул головой и сказал, что у него дома тоже в одной комнате цветной, а в другой чёрно-белый. Он сказал это так, между прочим, и даже не мне, а Ричу. Но я фразу понял и решил уточнить: Эрик, ты женат? Нет, ответил он. Живёшь с родителями? Нет, один. Ничего себе студент живёт! – подумал я. – В двух комнатах, да ещё и с двумя телевизорами...

Наталья стала собирать со стола тарелки, Наз вызвала её помочь помыть посуду, но жена сказала: не надо, я сама потом помою. Я спросил: у вас там, в Америке, у всех, наверно, посудомоечные машины? (Я этих посудомоечных и в глаза не видел). Наз ответила: у моей бабушки есть на кухне такая машина, но она ею не пользуется: электричество дорогое.

Эрику, как я узнал, было двадцать два года, а Наз – двадцать четыре. Оба они были этнические иранцы, точнее, персы, хотя родились в Штатах. Причём у Наз бабушка родом, оказывается, из Ашхабада, куда её семья, принявшая веру бахаи, переселилась из Ирана, спасаясь от гонений. Это было ещё до нашей Октябрьской революции.

– А ты знаешь персидский? – спросил я.

– Да, знаю, – сказала Наз.

– Но это же восточный язык, в нём, наверное, есть, как и в русском, звуки, которых те, кому английский родной, не выговаривают. А ну, скажи: «Р-р-р».

И она в точности повторила за мной этот звук – раскатисто, звонко, без английского «жеканья».

– Скажи: «Ы-ы!» – Она и это выговорила правильно.

– Splendid! Великолепно! – похвалил я. И спросил:

– А «Наз» – это персидское имя? Что оно значит по-английски?

– Precious, – ответила она. Я кивнул: понятно. Прешес.

– А как это по-русски будет? – спросила Наз в свою очередь. Причём живо, заинтересованно спросила. Я замялся. Как признаться ей, что по-русски это, не в пример персидскому «Наз» и английскому «Прешес», звучит длинно и громоздко: «Дра-го-цен-ная»? Она такое имечко и не выговорит... Два чуда, два языка столкнулись... даже три – считая персидский, – и, увы, русский оказался в очевидном проигрыше... Я не знал, как ответить. Сказать: «Алмаз»? «Яхонг»? Нет, не годится... Пришлось промямлить что-то туманное: мол, это сложно, надо подумать... Она посмотрела на меня с недоумением.

До сих пор мне стыдно за эту заминку. И что я тогда зациклился на «драгоценной?» Ведь есть же в английском разговорное обращение «май прешес» – в значении «мой милый», «моя милая». Ну и сказал бы ей, что по-русски Наз – это Мила. И коротко, и благозвучно, и честь родного языка спасена... Да вот не сообразил.

А высокий смуглый Рич был не перс, а индиец, хотя родился не в Индии, а тоже в Штатах. Самый молодой из них – девятнадцать лет, – он показался мне серьёзным пареньком. Разговор коснулся соседнего

Китая, и Рич сказал, что собирается изучать китайский язык, потому что Китай скоро станет очень важной страной (very important country). Наверно, у меня при этом промелькнула на лице патриотическая обида, потому что он поспешно добавил: Россия, конечно, тоже останется важной страной. Потом речь зашла об их поездке по Союзу, они сказали, что им здесь нравится, народ приветливый, да вот только они очень устают, мало спят. Вернусь домой – буду отсыпаться, сказал Эрик. Я, бравируя перед молодыми отсутствием стариковской бессонницы (как-никак я был вдвое старше каждого из них и подозревал, что они видят во мне старика), сказал, что могу, если есть возможность, спать хоть сутки подряд. Рич засмеялся: «Как Рип ван Винкл?» – «Ойес!» – обрадовался я и, достав с полки, показал ему книгу Вашингтона Ирвинга на английском, где была и новелла «Рип ван Винкл», герой которой проспал двадцать лет подряд. Приятно было, с одной стороны, похвастаться знанием американской литературы, а с другой стороны – удостовериться, что и американцы книжки читают.

Но вот Эрик сказал, что им пора в гостиницу. Рич сел на диван, скрестив по-восточному ноги, выпрямился, положил руки на колени и стал нараспив произносить молитву бахаи. Она по-английски звучала красиво, ритмично, и, когда Рич замолк, я попросил его записать мне её на память. У меня до сих пор сохранилась бумажка, где чётким почерком написано:

*Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow where mention of God hath been made, and His praise glorified.*

(Благословенны местность, и дом, и место, и город, и сердце, и гора, и убежище, и пещера, и долина, и земля, и море, и остров, и луг, где Бога упомянули и Его восхвалили).

Уходили они, кажется, довольные приёмом. А уж я-то как был рад: я ведь не только разговаривал весь вечер на английском, но и, чёрт побери, всё понимал! Ну, почти всё. Наталье американцы тоже понравились, и на другой день она вместе со мной сходила на их прощальное выступление.

Это было не столько даже выступление, сколько заключительное мероприятие – многолюдное, шумное, весёлое. Американцы в эти три-четыре дня успели провести агитационную работу среди молодёжи, и теперь было торжественно объявлено, что в Благовещенске создана община бахаи в составе тридцати членов. Ново-принятые (или новообращённые?) выходили на сцену, и каждому под аплодисменты зала вручалась бумажка, свидетельствующая, что он отныне является последователем учения Бахауллы. Потом американцы спустились со сцены в зрительный зал, пошло общение, смех, разговоры, обмен адресами. Мы попрощались с каждым из наших новых знакомцев. Наталья протянула Наз блокнот и ручку и сказала: «Райт! Эврисинг!» («Пиши! Всё!»). Наз поняла и написала по-английски адрес: Всемирный Дом справедливости, Хайфа, Израиль. Я удив

ился: почему не Калифорния? Наз объяснила, что после Союза поедет туда, в Хайфу, где находится центр религии бахаи, будет там полгода работать. И попросила написать в её блокноте по-русски, разборчиво, наш адрес. Я написал.

Месяца через два мы получили письмо. Конверт был чудной, мы таких прежде не видели: длинный, с прозрачным пластиковым окошечком, в котором красовался адрес получателя, написанный моей рукой. «Ксерокопия!» – сказал я Наталье (это слово мы уже знали). А само письмо Наз не написала от руки, а отпечатала – на пишущей машинке, как мы решили. Ничего в письме особенного не было: работаю, вспоминаю вашу семью, пишите. Поразил шрифт: необыкновенно чёткий, красивее любого типографского. Что это у неё за машинка такая? О компьютерном наборе и лазерном принтере мы ещё и понятия не имели.

Ответ я так и не написал. Закрутились события: взбаламутил страну ГКЧП, по телевизору что ни день политические новости, как удары по башке, в магазинах нехватка всего... О чём писать? У них своя жизнь, у нас своя.

Но мы с Натальей часто вспоминали о молодых американцах. Я – особенно. Хоть в малой мере, но сбылась моя надежда на языковое пиршество. По усам текло обильно, и пусть в рот почти не попало, но всё же я прикоснулся ненадолго к живой английской речи. Подробности и картинки тех дней до сих пор радуют мою память.

Одно только воспоминание смущает: тот последний вечер, шумное общение в зрительном зале – и бродит в толпе один из «новообращённых». Маленький, худенький, непонятно какого возраста – то ли ему шестнадцать, то ли тридцать. Его бледно-голубые, почти белые глаза светятся радостью, обеими руками он держит перед собой бумажку, в которой сказано, что он полноправный член общины бахаи. Он подходит то к русским, то к американцам и, счастливо улыбаясь, показывает им эту бумажку. Ему кивают, похлопывают по плечу: младец, поздравляем! – и бедный дурачок плывёт дальше по людному залу в блаженном трансе.

И следом кое-что, смутно похожее на эту картинку, как на буксире, выплывает из памяти: жаркий день, кучка подростков у Дома молодёжи, рыжеволосая Сабочка с благотворительной жвачкой – и я сам, в каком-то телячьем восторге иронизирующий на чужом языке о своей стране, которая не умеет делать жвачку, зато умеет делать ракеты. Меня тогда по плечу не похлопали, а надо было бы похлопать – для полноты сходства.

Впрочем, славные молодые люди – Эрик, Наз и Рич – в этом сходстве не виноваты.

## 2. Миллионеры

Все знают щедринскую «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». А я расскажу, как один русский мужик при двух американских генералах переводчиком был.

Это отчасти шутка, конечно. «Генералы» были не настоящие, а из тех, кого называют свадебными генералами. То есть именитыми гостями. Но американцы они оба были натуральные, да к тому же миллионеры...

Итак, миновал год после моей встречи с калифорнийскими студентами. За это время многое изменилось: Советский Союз распался, в бывших обкомах и горкомах засели губернаторы и всякие мэры, появились новые деньги (и сумасшедшие новые цены), одно за другим вырастали частные предприятия, замельтешили какие-то брокеры, менеджеры, торговля закипела на всех тротуарах... При этом инерция советского уклада ещё скрывалась во всём. Большинство из нас, рядовых граждан, не брокеров и не менеджеров, за год не успели толком осознать, что живём мы в совсем другой стране. Хотя осознание это становилось всё яснее с каждым днём: что ни день, то сюрприз.

Однажды, в начале июля 1992 года, мне позвонили.

— Здравствуйте. Это такой-то?

— Да, — говорю, — это я.

— Вам звонят из городской телефонной станции. К нам завтра приезжают американцы, срочно нужен переводчик. Дня на три-четыре. Нам порекомендовали вас.

Тут я, как говорят в таких случаях, чуть со стула не упал.

— Кто порекомендовал?..

Оказалось вот что. Моя племянница Аня, студентка китайского отделения нашего пединститута, подрабатывала на городской телефонной станции переводчицей. Благовещенская ГТС обменивалась с ГТС соседнего китайского города Хэйхэ деловыми телеграммами на английском языке, и Аня эти телеграммы переводила. Разумеется, начальство сказали ей, что она будет переводить и разговоры с приезжающими американцами. «Я испугалась, — рассказывала мне потом Аня. — Ой, говорю, я китайцев могла бы переводить, а английский язык мой дядька лучше знает. Он с американцами разговаривал». И начальник ГТС позвонил мне.

— Да понимаете, — говорю, — я же, в общем-то, самоучка...

Но он не отступал: мы, мол, уже не успеем найти профессионала. И я согласился — с великой радостью, если честно: ведь снова выпал шанс попрактиковаться в языке. Но при этом чувствовал себя самозванцем и старался не гадать, насколько позорным будет провал.

А угрозой провала повеяло в первые же минуты знакомства, когда на другой день к вечеру я позвонил в дверь гостиничного номера. Вышел высокий поджарый мужчина, на лице — вежливая внимательность, верный признак иностранца. Как и год назад при встрече с бахаистами, я опять попытался погарцевать на коне, презиравшем меня как седока. Бегло выдал заготовленную тираду:

— Good day. My name is Slava. I am sorry to trouble you, but they invited me to be your interpreter. (Добрый день. Меня зовут Слава. Извините за беспокойство, но меня пригласили быть вашим переводчиком). — И, между прочим, не удержался, щегольнул лингвистическими

познаниями: употребил вместо «транслэйттор» более подходящее «интэрпретор» — то есть не просто переводчик, а устный переводчик, что-то вроде забытого у нас «толмача».

— Come in, please! (Входите, пожалуйста!) — Американец сделал гостеприимный жест, и, когда мы с ним вошли в прихожую, протянул мне руку: — Glad to meet you. Tom Jones. (Рад познакомиться. Том Джонс).

— What a famous name! (Какое знаменитое имя!) — сказал я, сразу вспомнив роман Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша»: знал его по пединститутской программе зарубежной литературы XVIII века. Американец польщённо улыбнулся, и мы с довольным видом пожали друг другу руки. Лишь позже до меня дошла комичность ситуации: он-то наверняка решил, что я имею в виду попсового певца Тома Джонса, чьё имя тогда гремело во всём мире, — а мне этот певец и на ум не взбрёл.

В прихожую вышел другой американец, тоже протянул руку, представился: Джим Келли. Такой же высокий и поджарый, только рыжий, в отличие от русоволосого Тома. Они провели меня в гостиную, мы уселись в кресла, и я поспешил сообщить им на беглом, прямотаки порхающем английском:

— Victor sent me here first to get acquainted with you. He is just about to come. (Виктор послал меня сюда первым, чтобы познакомиться. Он вот-вот подойдёт).

Том кивнул — и быстро заговорил со мной. И Джим заговорил — ещё быстрее.

Оба, чёрт бы их побрал, заговорили... О чём, интересно? Переведи-ка, переводчик. Н-да... Не удрать ли тебе отсюда, пока вдрызг не опозорился?.. Но — стоп, сказал я себе. Без паники... Виктор, начальник городской телефонной станции, объяснил, что эти два миллиона никаких важных переговоров вести не будут, все договоры уже заключены с ними в Хабаровске, а устанавливать новое оборудование на телефонной станции приедут другие американцы, работяги. «А эти что здесь будут делать?» — спросил я. «А ничего, — сказал Виктор. — Им надо просто показать цеха, показать город и вообще — принять их на высшем уровне, чтобы остались довольны».

Что ж, была не была...

— Простите, — говорю, — но я вас не понимаю.

Они посмотрели на меня оторопело: только что трещал как сорока, и вдруг — не понимает...

И я стал объяснять им, что я самоучка (сэлф-тот мэн), читать умею, но на слух воспринимаю плохо. Ну не смог, говорю, Виктор найти вам профессионального переводчика. Попросил их говорить помедленнее. Они пожали плечами, однако просьбу учли, и дело помаленьку, со спотыканием, но пошло. Я узнал, что Том Джонс и Джим Келли — друзья детства, но живут далеко друг от друга: Джим на юге, в Майами, а Том на севере, кажется, в Детройте. У каждого есть собственная фирма: у Тома что-то связанное с телефонной автоматикой, у Джима — с кондиционерами, или наоборот — я уже не помню. Обоим по пятьдесят два года. У Тома есть жена и дочь Дженифер, у Джима — сын, но сам он в разводе.

Все эти сведения мне сразу же пригодились. Пришли Виктор, его жена и ещё двое или трое работников

ГТС и, когда все перезнакомились и сели за стол, я не только переводил тосты – с русского на английский и наоборот, – но и дозированно, к месту, оглашал то, что успел узнать о Томе и Джиме. Это несколько укрепило мой шаткий статус переводчика – во всяком случае, в моих собственных глазах. Стол, который тут же, в номере, накрыли нам работницы гостиничной столовой, был что надо: горячие бифштексы с жареной картошкой, красная икра, балычок, коньячок... А водочку они поставили не простую, а особого качества – «Посольскую». Эта марка в Благовещенске с советских времён выпускалась в ограниченном количестве и только для важных персон. «Посольская» очень даже поспособствовала теплоте и живости общения. Я переводил немудрёные вопросы и ответы, и мои переводы вполне устраивали всю компанию и меня тоже. Лёгкий трёп – вещь необременительная, даже если это трёп международный.

Когда расходились, Виктор попросил меня назавтра прийти к восьми утра.

Утром мы четверо – Том, Джим, Виктор и я – позавтракали в гостиничной столовой и не спеша прогулялись на городскую телефонную станцию, до неё было каких-то два квартала. Я, ничего не смысля в технике, но зная, что нынешнее автоматическое оборудование станции собираются менять на новое, современное, ожидал, что американцы будут морщиться, разглядывая русское старье. Однако когда мы поднялись в зал автоматики, я был поражён их реакцией. Они пришли в восторг. Неописуемый! Оглядывая ряды стативов с электромеханической автоматикой, серьёзные мужики с седеющими висками смеялись и хлопали в ладоши, как мальчишки. «Клик-клик!» – умилительно воскликнул Джим, указывая пальцем, как поворачиваются и со щёлканьем падают металлические шаговые искатели. Я тоже невольно заулыбался. Но когда Том пояснил мне, что они впервые видят своими глазами такую технику – у них в Америке она использовалась лет сорок назад! – моя улыбка стала кисловатой. Я перевёл Виктору про «сорок лет», он с досадой бросил: да я знаю.

Между тем этой автоматической телефонной станции исполнилось к тому времени всего-то шестнадцать лет. Я вспомнил, как областная газета восторженно сообщала, что сдан в строй пятиэтажный «куб из стекла и бетона», начинённый «новейшим оборудованием». Вспомнил – и только вздохнул.

Мы обошли все этажи, Виктор показывал американцам, где тут что, я переводил в меру своего разумения. Они кивали без особого интереса. Но в одном месте вдруг сами остановились: «А это что?»

На стене висел большой, добротно исполненный стенд, где под стеклом были приколоты уже слегка пожелтевшие машинописные листки, а сверху красовались отчеканенные из серебристого металла – то ли алюминия, то ли лужёной жести – голова Ленина в профиль и большие буквы: «Наши обязательства».

– Это, – говорю, – сошиалистик облигэйшн, коммунистическая агитация за усердный труд. Уже история.

– А это кто? Ленин? – спросил Джим и, нахмурившись, покачал рыжей седеющей головой: – Ух, я его не навижу! Он столько зла сделал вашей стране.

Но когда шли назад мимо стендса, Джим сказал мне: спроси Виктора, не может ли он подарить мне это, – и показал на серебристый профиль Ленина. Я перевёл просьбу. Виктор пожал плечом: да без проблем!

– Джим, ты же Ленина ненавидишь, – сказал я. Он хохотнул, развел руками:

– Да, но это будет забавный сувенир!

И, клянусь вам, на этом деловая часть визита высоких гостей была завершена. Дальше им была уготована полная, как нынче говорят, расслабуха.

Гостиница, где поселили Тома и Джима, была одной из первых – если не самой первой – частной гостиницей в постсоветском Благовещенске. Двухэтажное её здание хоть и находилось в центральной, днём очень оживлённой части города, но уютно пряталось от уличного шума в глубине квартала. В их номере на втором этаже имелись две спальные комнаты, гостиная с японским телевизором и советским холодильником, ванная и туалет.

В этом номере я дня три-четыре был частым гостем. Завтракал и обедал вместе с американцами и Виктором в гостиничной столовой. Вкусно, надо отметить, там готовили. Ну а вечером были непременные застолья, первые два дня – прямо в номере. Виктор мне сказал: ты не беспокойся, я насчёт тебя звонил в Хабаровск, тебе заплатят как переводчику. А я и не беспокоился: заплатят – хорошо, не заплатят – всё равно я не в убытке: у себя на работе отпросился на эти дни и в зарплате не потеряю, а тут – такая еда, такая выпивка на халяву, а главное – общение на английском.

Самому Виктору, чувствовалось, было не до гостей: служебные заботы заставляли крутиться. Он спрашивал, есть ли у американцев какие проблемы, сообщал план развлечений, говорил: подождите, я скоро приду – и исчезал. И мы втроём его ждали. Так что времени на общение хватало.

Оба американца хоть и были одного роста и сложения, но характерами отличались разительно. Англосакс Том Джонс был уравновешен, рассудителен, что ни спросишь – ответит обдуманно, толково. Помню, он как-то сказал: для меня три вещи важны – мои убеждения, моя семья, моя работа (*my beliefs, my family, my work*).

А Джим Келли, импульсивный, подвижный, живо на всё реагировал, по любому поводу мог искренне расхочотаться или бурно возмутиться. Предки у него были то ли ирландцы, то ли шотландцы. «Я кельт!» – в первый же день сообщил он мне с гордостью.

Наша «Посольская» им обоим понравилась, они предпочитали её дагестанскому коньяку, но пили по-разному.

Том брал рюмку и сидел за общим столом, смахивая водку мелкими глотками. За вечер выпивал таким манером всего-то рюмки две. И вместе с тем признался мне, что за две недели в России (они до этого были в Хабаровске) он употребил (*consumed*) больше спиртного (*alcoholic drinks*), чем за полгода в Америке.

Джим, горячий кельт, с живостью откликался на любой тост и, не отставая от Виктора, от меня и от прочих наших, хлопал рюмку за рюмкой лихо, по-русски. Но, в отличие от нас, не тянулся сразу за закуской, а снова брал из пепельницы свою дымящуюся сигарету. Никак не удавалось убедить его, что надо закусывать, и в результате он к концу застолья набирался сильнее всех.

Том курил мало – за день, по-моему, не больше пяти сигарет. Джим – как, увы, и я в те годы – смолил одну за одной. Между прочим, как только он видел, что я вытаскиваю из кармана свою дешёвую «Амру» в мятой полуразвалившейся пачке из рыхлой серой бумаги, его просто передёргивало, и он немедленно вручал мне пачку «Кэмела», причём не открытую, а новую, нераспечатанную: презент! Ежедневно получал я от него по такому презенту. Меня это ничуть не смущало: обычное дело – я и сам всю жизнь делился куревом, и со мной делились. Советские курильщики – это же было братство! И уж в чём в чём, а в скопости Джима никак нельзя было упрекнуть. Однако вот что любопытно: захожу я первый раз в их туалет, а там на сливном бачке, по обе стороны от рукоятки слива, стоят два рулона нашей советской, из Набережных Челнов, дешёвой туалетной бумаги. Слева – бумага миллионера Тома, справа – миллионера Джима. Ну или наоборот – они сами небось не путали, где чья...

Конечно, в этом была не скопость, а просто другой, не понятный нам менталитет.

Вообще, удивляло многое. Вот увидел на столике у зеркала в гостиной бутылочку, а на этикетке надпись по-английски: «Spring water». Родниковая вода? Я не поверил своим глазам, спросил, оказалось, что это действительно обыкновенная вода, не минеральная и не газированная. А зачем она вам? – спрашивал. Да так, – сказал Том, – зубы чистить, например. Так ведь в кране есть вода! – говорю. Он только деликатно плечом пожал.

Как-то я сказал: сегодня обещают сильную жару – до тридцати пяти градусов. Вспомнив, что у них там другая шкала температур, добавил: это по Цельсию, а сколько по Фаренгейту – не знаю. Том Джонс достал маленький чёрный чемоданчик, раза в три меньше обычного кейса, открыл его, что-то включил, чем-то пошёлкал – и на экранчике высветилось: 95 по Фаренгейту. Тут же он, пошёлкал, сообщил курс доллара к рублю. Чемоданчик назывался: электронный органайзер.

Телефонную станцию мы им показали, надо было показать и город. А чем в нашем захолустном Благовещенске русский мужик мог удивить двух миллионеров, которые видели южные пляжи и пальмы, американские небоскрёбы, западноевропейские соборы – да мало ли чего видели... Свозим их в музей, – предложил я Виктору. Он подвёз нас в «Жигулях» к областному музею, но тот как назло был закрыт. Ладно, – сказал Виктор, – погуляй с ними по горпарку, по набережной, а я за вами приеду.

И повёл я их, видевших феерические – в моём понимании так просто инопланетные – диснейленды, в наш небольшой парк «культуры и отдыха», где среди некази-

стых тополей стояли допотопные, с сорокалетним стажем аттракционы. Но Джим и тут нашёл, чем бурно восхититься:

– О, мерри-гоу-раунд! – радостно воскликнул он, указав на большую карусель, которая, визгливо поскрипывая, мчала по кругу аляповато выкрашенные кабинки с детьми и взрослыми.

– Карусель, – сказал я то же самое по-русски.

– Кэрузэл, – согласно кивнул он, произнеся второе английское название карусели. Мы прошлись дальше среди немудрёных качелей в виде лодочек, каруселей в виде лошадок, и Джим, то и дело похвостывая, с неподдельным удовольствием смотрел, как веселятся русские детишки.

– Амьюзинг! – повторял он. Забавно, мол. Мы с Томом, глядя на него, тоже невольно усмехались.

Прошлись по нашей бетонной, уже начинавшей ветшать набережной. Джиму и тут всё было «амьюзинг». Особенно бронекатер на постаменте, с танковой орудийной башней и спаренным крупнокалиберным пулемётом наверху. Джим, выставив вверх два указательных пальца, изобразил пулемётную очередь: «Та-та-та-та!» – и сообщил с гордостью, что он в молодости служил срочную службу в военно-морском флоте («Нэви» по-ихнему). Я объяснил, что такие катера участвовали в перевозке наших войск через Амур в августе сорок пятого, в конце Второй мировой войны.

– О, Вторая мировая! – подхватил Джим. – Я знаю, русских в ту войну погибло больше всех – двадцать миллионов! – И с неподдельным изумлением, как потрясающую новость, раздельно выговорил ещё раз: – Твенти мильен!

Тут и я изумился. До меня дошло, что Джим лишь недавно, уже, видимо, в Хабаровске, впервые услышал эту потрясшую его цифру. А ведь он не ребёнок, полвека живёт на свете, и эта самая Вторая мировая была уже при его жизни... Что же тогда знают о нас молодые американцы? Неужели мы с Америкой такие разные миры?

Разговор переключился на недавнюю войну американцев с Ираком – Desert Storm («Буря в пустыне»). Тут Джим расправил плечи, торжествующе посмотрел на меня – и сложенными щепотью пальцами стал будто бы что-то прицельно бросать на землю туда и сюда, приговаривая: «Бэнг! Бэнг! Бэнг!» Это он изобразил знаменитые точечные попадания американских бомб с лазерным наведением, о чём в те годы шумела мировая пресса. Я, скептически махнув рукой, начал было в ответ:

– Эври дог...

– ...хэз хиз дэй! – быстро закончил за меня Джим и расхохотался. Это мы с ним на пару вспомнили английскую пословицу: «У каждой собаки свой день». Он не обиделся.

Оба они с любопытством смотрели за Амур, на китайский Хэйхэ. Теперь, четверть века спустя, там красятся тридцатиэтажные высотки, ажурные телевышки, всяческие затейливые башенки, вечерами гостей Благовещенска удивляет обильная иллюминация китайского берега. А тогда, в девяносто втором, на том месте стояли убогие лачуги, среди которых высился лишь несколько

весьма скромных, явно советской архитектуры, жилых пятиэтажек – только что построенных либо ещё строившихся. Я рассказал американцам, что три года назад побывал в Хэйхэ в однодневной турпоездке и смотрел, как строилась первая пятиэтажка. Рабочих на стройке было, как муравьёв, – и ни одного подъёмного крана. Кирпичи они таскали наверх вручную.

– Китайцы трудолюбивые, – изрёк я банальную истину.

– *Very industrious!* (Очень трудолюбивые!) – воскликнул Джим и с обычной своей горячностью стал говорить, что Китай скоро станет богатым и сильным, а это опасно, и Америка с Россией должны дружить. Я неопределённо покрутил головой, заметив, что все страны должны дружить. Джим в ответ на мою дипломатичность вежливо хмыкнул, но возражать не стал.

– Россия пока отстаёт во многом, – сказал я, как бы извиняясь перед гостями за неприглядный вид родного города, за облупленный парапет бетонной набережной, за наши уродливые панельные дома, за изрытый асфальт улиц и тротуаров. – У нас нет... – я запнулся, подыскивая слово.

– *Organization*, – подсказал Джим. Взгляд у него стал серьёзным, даже холодным. Вообще-то он вовсе не был таким уж по-ребячески беспечным, каким иной раз казался. Иначе едва ли владел бы процветающей фирмой.

– Вот именно – *организейшн*, – согласился я. – И в бывшем Советском Союзе не хватало организованности, и сейчас её нет.

– А как сейчас называется ваша страна? – спросил Джим. – Не Россия, а бывший Советский Союз?

Том тоже с интересом посмотрел на меня: что я отвечу?

– Ну... – Я не сразу, но вспомнил: «Содружество Независимых Государств». Поднапрягся и перевёл на английский: – *Коммонуэлс оф Индепендент Стейтс*. – И с усмешкой признался: – Честно говоря, я не знаю, что это такое.

Они помолчали, никак не комментируя мой ответ. Сейчас я понимаю, что исчезнувший Союз в то время ещё продолжал некое фантомное (как нынче выражаются) существование в сознании людей – не только нас, бывших советских, но и иностранцев.

Том Джонс в разговоры о войне и политике не вмешивался, слушал нас и задумчиво поглядывал вокруг. Помню, сорвал он с тополя лист, ржавый и сухой – это в начале-то июля! – пальцами раскрошил его в пыль и спросил, что это за дерево.

– Поплар, – ответил я. – Тополь. У нас уже года три на тополях летом сохнут листья.

Том сказал, что и у них в Америке, в Нью-Йорке и других городах, с тополями происходит то же самое.

– Это что, какие-нибудь кислотные дожди? – предположил я.

– *No*, – сказал он. – *Insects* (насекомые).

Надо же! – подумал я. – И в Америке тополя сохнут. Значит, не настолько уж мы с ней разные миры.

Такого же рода неторопливые разговоры – тем более неторопливые, что я переспрашивал одно и то же по

два-три раза, – вели мы в их номере на другой день. Виктор после завтрака убежал по производственным делам, попросив подождать его. Отсутствовал он часа два, а, появившись, с довольным видом объявил, что договорился с гостиничным начальством и нам к вечеру приготовят сауну.

– Переведи им, что они сейчас могут отдохнуть и заранее собрать вещи. Завтра мы с утра едем за Зею на шашлыки, а на послезавтра у них уже рейс на Хабаровск. Сам пока иди домой, но к пяти часам будь обязательно.

Сауна была отличная. Правда, этим модным словечком владельцы гостиницы назвали обыкновенную русскую баню, хотя и комфортно обустроенную. Пар был не сухой, а в меру влажный, и дубовые венички лежали наготове. Когда раздевались в предбаннике, Том увидел лежавшие стопкой аккуратно свёрнутые белые простыни, взял одну и спросил, что это.

– Простыня, – говорю. – *Sheet*.

– Что?! – ошеломлённо воскликнул он, даже отшатнулся от меня. Но секунды через две понял, заулыбался. А я с досады готов был сквозь пол провалиться. Я ведь добросовестно, старательно тянул долгое «И» в этом английском слове: *ши-и-и-ит*. А он всё равно воспринял его как «шиш» с кратким «И» – *shit*. То есть, извините, «говно». Было отчего отшатнуться. Вот и учи произношение по словарю Мюллера.

Зашли в парилку. Виктор поддал парку, плеснув из ковшика на раскалённые камни, мы с ним полезли на самый верх и стали там хлестать себя вениками. Американцы же, едва зайдя, мигом углядели на стене термометр (я его и не заметил). Том покачал головой: «Девяносто градусов Цельсия?» – И, как ни звали мы их наверх, они остались сидеть на самой нижней ступеньке. Но даже там жара вскоре показалась им нестерпимой, они метнулись вон из парилки. Я поспешил за ними и, увидев, что они стоят совсем очумелые, указал им на небольшой, но глубокий бассейн: давайте туда! Том залез первый в прохладную воду – и, бла-женно отдуваясь, произнёс: «*Ка-айф!*» Это было одно из немногих русских слов, которым я их обучил...

Потом мы сидели в прохладе за большим столом, сделанным под старину, из толстых деревянных плах, на таких же впечатительных деревянных скамьях, завёрнутые в белые простыни, как римские патриции в тоги, не спеша выпивали и закусывали. Виктор из своего садового участка привёз свежих огурцов, зелени и вишнен – с амурской, так называемой войлочной, вишни. К моему удивлению, наши мелкие вишненки американцам очень понравились.

– А это что? – спросил Джим, взяв с блюда листик петрушки.

– Парсли, – сказал я. Джим загадочно прищурился и спросил:

– А чем отличается парсли от пусси?

Я понял: это начало анекдота вроде наших, из серии «Армянское радио». Перевёл вопрос Виктору: чем отличается петрушка от... В общем, «пусси» я ему тоже перевёл на русский. Ну и чем отличается? – заинтересовался Виктор.

– Петрушку никто не ест! – сказал Джим. Я посодировал секунду-другую и, уяснив суть ответа, засмеялся, но немножко деланно, больше из деликатности. Перевёл

ответ Виктору. Он тоже помолчал, потом шутливо хмыкнул: «А я ем!», взял пучок петрушки и стал напоказ звучно жевать. Анекдот ему то ли не показался смешным, то ли он вообще не понял, в чём соль: мы тогда ещё не успели глубоко просветиться по части изощрённых сексуальных утех. Тут же Виктор рассказал наше, советское: приезжает муж из командировки, застает жену в кровати с любовником и кричит на неё: ты здесь, шалава, валяешься, а внизу в магазине колбасу выкинули! Американцы поулыбались – но тоже явно из деликатности: то ли перевёл я нескладно, то ли советский юмор до них не дошёл.

Катер – из списанных военных, со снятой пушкой, возможно, тот самый, что мы с Ваней в прошлом году видели на Амуре в День Нептуна, – мчал нас вверх по Зее. День начинался солнечный, голубая река сверкала, с левого берега долетали запахи свежескошенных трав. Все прямо на палубе разделись, оставшись в плавках, а жёны Виктора и его зама – в купальниках. Владелец, он же капитан катера, загорелый седой дядька, голый по пояс, но во флотской фуражке с крабом, уступил штурвал Джиму. Катер вильнул туда-сюда, но тут же выпрямил ход, и Джим расплылся в счастливой улыбке. Капитан рассмеялся, снял свою фуражку с крабом и нахлобучил ему на голову. Надо было видеть ту нешуточную гордость, которая распирала Джима. Но вскоре капитан отстранил его и дальше сам повёл судно: сквозь прозрачную воду кое-где проглядывали мели.

Мы причалили к песчаному дикому пляжу. Места здесь были безлюдные, травяной запах с полей сладко кружил голову. Пока я помогал выгружать на берег мангал и всё необходимое, Виктор дал американцам топор и жестами показал, что надо нарубить дров. Они неумело, по-бабски, стали тюкать топором по валявшимся на песке сухим веткам. Сушняка в этом месте было мало. Я взял у них топор, и мы пошли вдоль берега. Метрах в тридцати ниже по течению была причалена чья-то моторная лодка. Видимо, владельцы были где-то поблизости. Рядом вдавался в берег узенький, но довольно глубокий заливчик, а за ним я увидел ивовые сухостоины и сказал Тому и Джиму: «Подождите здесь». Снял свои наручные часы, дешёвенькие, на кожаном ремешке, повесил их на торчавшую из песка корягу и перешёл заливчик – глубина была почти по горло. Быстро нарубил сушняка и стал перебрасывать его через заливчик. Том с Джимом взяли по паре сухостоин и потащили их к катеру. А я, закончив бросать, с топором поспешил к нашему лагерю, где уже разводили костёр. Попросил американцев принести оставшийся сушняк и принялся рубить дрова.

Потом слышу: завёлся лодочный мотор. Глянул – а Том и Джим прощально машут руками двум парням, отплывающим от берега на той лодке, что я видел у заливчика. Те им тоже помахали, вывели лодку на середину реки и умчались вниз по течению.

Притащили американцы оставшийся сушняк, я его дорубил. А Том спрашивает:

– Что такое «сидана»?

– Какая сидана? – не понял я.

– Эти парни нам сказали: сидана.

– Может быть, «до свидания»?

– Йес, йес – до сидана.

– Это значит «гуд бай», – говорю. А через некоторое время вспомнил кое-что. Прогулялся к заливчику, где торчала из песка коряга. Так и есть: «до сидана», уплыли мои часики на моторной лодке. Не стал уж американцам ничего говорить. Слава богу, дома были ещё одни такие же часы: Наталья в прошлом году купила их штук пять и в однодневной турпоездке за Амур обменяла на китайскую кожаную куртку и ещё какое-то нужное барахлишко, а одни привезла назад.

Шашлык – дело не скорое. До того, как он был готов, вся компания успела и накупаться в чистой, как слеза, зейской воде и не один раз опрокинуть по стопочке под холодную закуску. А шашлык расселись дегустировать на палубе катера. У Джима на голове всё так же была капитанова фуражка с крабом. Он горделиво сообщил, что его дядька был двухзвездный адмирал. Я перевёл это громко, для всех, и весёлый наш капитан, указав на фуражку, сказал Джиму: «Дарю. Носи!» Джим снял фуражку, растроганно прижал её к груди и произнёс: «Это для меня дорогой подарок!»

Шашлык был хорош: сочный, мягкий. Все его хвалили. Супруга Виктора сказала: сильно не наедайтесь, я ещё домашних пельменей к вечеру приготовила! Я перевёл её слова. Джим выразил по поводу предстоящих пельменей бурный восторг и благодарно поцеловал ей руку. Не думаю, что его интересовали пельмени, он и шашлык – почти не ел, но супруга Виктора была очень даже ничего в своём купальнике, а Джима уже заметно развезло.

Вернулись в город, сошли с катера. Мы с американцами сели в одну легковушку: Джим рядом с водителем, я и Том – на заднее сиденье. Стали дожидаться, когда все остальные рассядутся по машинам. Всё ещё стояла жара. Джим задремал, но тут же проснулся и начальственно буркнул: включите кондиционер. А машина-то была обычная наша «пятёрка» – какой кондиционер? Но я перевёл указание босса. Водитель невозмутимо нажал прикуриватель. Джим удовлетворённо кивнул головой и снова задремал.

Пельмени вечером, в гостиничном номере, были тоже вкусные, но ужин получился скомканым. Джима, хлопнувшего ещё пару-тройку рюмок, пришлось уложить в постель, да и все остальные, утомившись от дневного веселья, не склонны были продолжать застолье, тем более что завтра был рабочий день.

– Рашен водка кикс лайк э мьюл! (Русская водка лягается как мул!) – Такой жалобой встретил меня наутро Джим. Вид у него был бледный, совсем больной.

Вещи они уже собрали. Джим упаковал свои сувениры: металлический профиль Ленина и флотскую фуражку с крабом, да ещё с десяток баночек красной икры, купленной с помощью Виктора. У Тома, по-моему, не было никаких сувениров и баночек.

– Голова раскалывается, – страдальчески говорил мне Джим. – Я принял аспирин, принял холодный душ, ничего не помогает.

Пришёл Виктор, увидел состояние бедняги, сказал ему: «Но проблем!» – и вышел из номера. Минут

через пять он вернулся с бутылкой «Посольской». О, ноу, ноу! – ужаснулся Джим, но Виктор сурохо сказал: надо! Несчастный через силу вылил в себя стопку, вслушался в свои ощущения – и рысью сбежал в туалет. Но всё же ему как будто полегчало.

В аэропорту объявили, что рейс на Хабаровск задерживается, и нам часа три пришлось просидеть на лавочке в тени привокзальных деревьев. Виктор был где-то в здании аэропорта. Том со вздохом пожаловался, что в России «вери мач уэйтинг» (очень много ожиданий). Жара усиливалась. Неподалёку стояла водоколонка. Я сказал, что вода в ней не такая, как в городе, а отличная, прямо из артезианской скважины. «Артижен уэлл?» – недоверчиво переспросил Том. Да, говорю, многие горожане ездят сюда за водой. И это была чистая правда. Мы все трое напились из колонки, намочили головы и снова сели на лавочку. Джим, непривычно печальный, сидя чуть в сторонке, молчал: видно, всё ещё плохо ему было.

А мы с Томом, напротив, разговорились. Много о чём поболтали. Он, например, сказал, что любит читать, особенно исторические романы. И ещё ему нравится французская живопись. А я рассказал, что когда в московском музее увидел картины Ренуара, Гогена и особенно «Красные виноградники» Ван-Гога, то от восторга просто опьянел, – так буквально и сформулировал по-английски: «Ай уоз дранк». Том поправил меня: не «дранк», а «интоксикейтед». А ещё, сказал он, есть у французов вот такие картины – и показал, будто кисточкой наносит на полотно точки. А-а, говорю, это пуантилизм. Он обрадованно кивнул: да, пуантилизм, художник, такой был – Сёрят. Э-э, нет, поправил я его в свою очередь, не Сёрят, а Сёра, у французов «т» на конце не произносится. Он подумал и сказал: а ты знаешь, Слава, у вас в России встречается очень много образованных людей. Я развел руками: мол, такие вот мы. Солженицынское «образованцы» ещё не было мне известно.

Наконец объявили посадку, и мы стали прощаться. Джим, пожимая мне руку, сказал, что, возможно, они через неделю снова прилетят в Благовещенск. А Том, что-то вдруг вспомнив, попросил позвать Виктора:

– Мне надо сказать ему одну вещь!

Я позвал – и перевёл то, что Том, глядя на Виктора, произнёс наставительно, как нечто важное:

– Если мы прилетим снова, нам не нужен профессиональный переводчик. Нам нужен Слава.

– Но проблем, – сказал Виктор. И они пошли на посадку в самолёт.

### 3. Технари

Через месяц Виктор позвонил мне:

– Опять вы нам нужны! Завтра американцы из Хабаровска приезжают.

– Джим с Томом?

– Да нет, те уже в Америке. Это рядовые технари, будут оборудование ставить.

– О-о, – говорю, – тогда от меня толку никакого. Я

в технике и по-русски-то не знаю, как что называется, а уж по-английски...

– А нам технический перевод не нужен, – возразил он. – Мы с ними, если что, на бумажке схемку набросали – и всё понятно... А вот всякие бытовые вопросы, то да сё... Понимаете, у нас уже есть переводчица дипломированная, она в отъезде, но скоро вернётся, так что мы вас не надолго загрузим...

Я был в отпуске, уезжать никуда не собирался. И наутро явился к Виктору в кабинет.

– Я не забыл, – сказал он извиняющимся тоном, – что мы с вами за прошлый раз ещё не рассчитались... Они там, в Хабаровске, тянут резину... Но мы вам обязательно заплатим, и за тот раз, и за этот...

– Да ладно! – махнул я рукой. Мне не очень-то верилось, что хабаровское начальство согласится на оплату моих (то есть неизвестно чьих) переводческих услуг – при наличии в штате ГТС дипломированной переводчицы. – Ты лучше помоги мне потом с машиной – урожай с садового участка вывезти.

– Да какой разговор! – с заметным облегчением произнёс он. И добавил, отведя глаза в сторону: – Ну и деньгами вы, конечно, тоже получите...

Что-то он опять стал мне «выкать». Вроде бы мы в прошлый раз на ты перешли...

Но были и другие перемены.

Новых американцев поселили в уже знакомом мне номере. Их тоже было двое. И банкетик по случаю знакомства в их номере в первый вечер тоже состоялся. Но, во-первых, банкетик был уже поскромнее и элитную «Посольскую» на нём заменила «Столичная». Во-вторых, не было никаких экскурсий и увеселений, на следующее же утро Фрэнк и Тоби – так звали этих ребят – отправились на ГТС, в две большие пустые смежные комнаты на четвёртом этаже, отведённые для установки нового оборудования, и я с первого дня находился там при них. Ну а в-третьих, обедал я с ними в гостиничной столовой только первые два дня. А потом, уловив, что Виктор мнётся, не решаясь напрямую сказать, что его взгреют за лишние расходы, я сам отказался от этих обедов – к его явному, опять же, облегчению. И к своему – тоже. Потому что, осознавая свою малую профпригодность как переводчика, я чувствовал себя неловко за халавным столом. А домойходить пообедать было каких-то пять минут ходу.

Кстати – чтобы уж покончить с темой еды, – от обедов в столовой вскоре отказался и Фрэнк. Он был старший из двоих – и по профессиональному опыту, и по возрасту. А кормили их в столовой так: на завтрак – молочная кашка и кофе; на обед – салат (плюс другая закуска, вроде сыра, или стакан сметаны), затем первое (большая тарелка наваристого борща, или щей, или супа-харчо), второе (гуляш, или плов, или котлеты) и третье (компот или сок); на ужин – мясо или рыба с гарниром и чай. Фрэнк, довольно грузный для своих тридцати шести лет, как-то за обедом сказал мне, что в России, на его взгляд, завтраки слишком лёгкие, обеды ну просто чересчур обильные, а ужины – «соу-соу» (так себе).

— А мне нравится русская еда! — весело проговорил худощавый тридцатилетний Тоби. — Кроме языка (tongue).

— Языка? — удивлённо перепросил я: мне это было как раз очень нравилось. Тоби, решив, что я опять не понял, высунул свой язык, подёргал его двумя пальцами — и снова взялся за плов. Интересно, что кусочки мяса он аккуратно отодвигал вилкой в сторону, зато рассыпчатый золотистый рис уплетал с большим удовольствием.

И вот, примерно на пятый день, Фрэнк, когда настал обеденный перерыв, сказал Тоби, что в столовую днём больше ходить не будет, потому что ему после такой еды спать хочется, и продолжал работать, раскручивать какие-то разноцветные провода. Тоби, вернувшись с обеда, принёс ему бутылочку газировки и яркий пакетик, на котором по-английски было написано: «арахис».

— Один из ваших президентов... — начал было я.

— ...Джимми Картер! — кивнул Тоби, сразу поняв, о ком это я.

— Да, — говорю, — у него были плантации арахиса. Наши газеты про это писали.

— Джимми был когда-то губернатором Джорджии! — тут же вставил Фрэнк.

В первые же минуты нашего знакомства Фрэнк с гордостью сообщил, что он из Атланты, штат Джорджия. Достал записную книжку и показал мне страницу, на которой были нарисованы карандашом (видимо, обведены на оконном стекле по маленькой карте) контуры США и жирным кружочком в юго-восточном углу обозначена Атланта. А гордился он тем, что в позапрошлом году его родную Атланту избрали столицей Олимпиады 1996 года. Фрэнк, похоже, всем и всюду эту карту показывал. Он также объяснил, что в Атланте у него семья — жена и шестилетний сын, — и с не меньшей гордостью показал присланный женой тетрадный листок в клеточку, где детская рука старательно вывела карандашом все двадцать шесть букв английского алфавита, — Фрэнк с усмешкой ткнул в букву «R», которая была повёрнута, как русская «Я».

А Тоби, земляк миллионера Джима, был из Майами. Работал раньше с отцом в его маленькой строительной фирмочке, а теперь вот с Фрэнком. Он был не женат, но обмолвился, что в Хабаровске познакомился с хорошей девушкой и думает сделать ей предложение. В Хабаровск американцы летели через Анкоридж, и южанина Тоби потрясла красота Аляски. Он в гостиничном номере показывал мне роскошный альбом, восхищённо листая страницы с заснеженными скалами и огромными елями. Я поспешил похвастать, что у нас есть места не хуже: Байкал, Камчатка, — но ему эти названия ничего не говорили.

Человек, далёкий от современной техники, я понятия не имел, что за оборудование они будут ставить. Знал только, что оно электронное: сплошные «платы» («плэйтс» по-ихнему). В большую комнату было внесено нечто вроде высоких и узких металлических шкафов, доставленных в контейнере из Хабаровска. Фрэнк открыл переднюю стенку одного шкафа — внутри всё было тес-

но напичкано этими самыми платами, — долго и внимательно оглядывал эту электронику. Что-то его там насторожило.

А у Фрэнка из нагрудного кармана торчали колпачки двух авторучек. Я ещё, помню, подумал мельком: зачем ему две? Он вытащил одну авторучку, щёлкнул кнопкой: и вырвался луч яркого света. Фрэнк легко всунул этот неправдоподобно, невиданно тоненький электрический фонарик в тесное пространство между платами, посветил и выругался: «Shit!»

— Что такое? — спросил я.

— Проводок отпаялся при перевозке.

Ну и ну, думаю. Наш техник, чтобы что-то там разглядеть, стал бы, матерясь и обжигая пальцы, совать в эту тесноту зажжённую спичку.

Фрэнк достал другую «авторучку» — это оказался столь же тоненький газовый паяльник — и в секунду припаял проводок. А нашему мастеру, с его электропаяльником, пришлось бы злополучную плату откручивать и вытаскивать наружу.

Окончательно же я был сражён и подавлен техническим оснащением американских работяг, когда Франк положил на табуретку элегантный кейс — у нас такие назывались «дипломатами» и были мечтой советских интеллигентов, — открыл его, и там, уложенная на бархатистое ложе, сверкнула праздничным блеском ровная поверху и скошенная понизу волшебная свирель Пана. Только состояла она не из ряда камышовых трубочек — от коротенькой до длинной, — а из ряда гаечных ключей, от маленького до большого. Все эти ключи ослепительно сияли никелем. И, что особенно поразило, все до единого были разводные!

Вспомнилось паровозное депо, где я работал слесарем в юности. Там на весь огромный цех промывки имелся один-единственный разводной ключ, и тот постоянно находился в розыске, поскольку слесаря то и дело умывали его друг у друга.

Чего уж говорить — Россия в моих глазах проигрывала Америке всухую.

Маленькое примечание. Я знал, что по-английски «гаечный ключ» — wrench («ренч»), а как «разводной ключ» — не знал и спросил. Тоби ответил: «кресэнт ренч». Я попросил его написать мне слово «кресэнт» на бумажке — для памяти. Он написал, по-английски, разумеется, но у меня по поводу правильности написания шевельнулось сомнение. Вечером дома сверил по словарю: так и есть — американец сделал две ошибки в одном слове «crescent». Однако это не утешило моей патриотической грусти.

Некоторый реванш я взял, когда принесли деревянные ящики с деталями уж не помню какого американского оборудования, а также топор — эти ящики вскрывать. Фрэнк с той же неуклюжестью, с какой Джим и Том рубили дрова, попытался открыть топором крышку ящика, минуты две повозился, одна дощечка треснула пополам. Я забрал топор и быстро вскрыл ящики, не сломав ни дощечки. Вот так, джентльмены, русский топор — это вам не газовый паяльник, тут соображать надо...

Но недолго длилось моё маленькое торжество, мяч снова влетел в российские ворота. В эти деревянные ящи-

ки в качестве смягчающего материала, чтобы детали не бились при транспортировке, были засыпаны маленькие белые колбаски, размером с советские макаронные изделия под названием «рожки». Фрэнк поднял одну такую колбаску:

— Знаешь, что это?

Кто ж этого не знал? Я кивнул, но молча, потому что не смог вспомнить, как по-английски «поролон». А Фрэнк сказал: это крахмал (старч).

— Как? — удивился я. — То, чем крахмалят воротнички?

— И присыпают детские попки, — улыбнулся Фрэнк.

Вот оно как. Растворился крахмал в воде — и никакого тебе мусора, одна благоуханная экология.

Но и у американцев не всё было гладко. Так, Фрэнк, оглядев очередное какое-то оборудование, чертыхнулся: что-то там было то ли отломано, то ли недокомплектовано.

— Что делать? — спросил я.

— Импровайз! — ответил он. Я невольно рассмеялся. А что, говорю, импровизировать — это по-русски. И рассказал им, как в армии мне приходилось рубить дрова лопатой, а траншею копать топором, и я с заданиями оба раза справился.

— Ноу экскюз, оунли резалт! (Никаких оправданий, только результат!) — понимающе хмыкнул Тоби. А Фрэнк, закурив сигарету, посидел поразмышлял, потом порылся в инструментах, достал какую-то плоскую железяку, вроде большого велосипедного ключа, осмотрел её внимательно и, положив на обух топора, стал колотить по ней молотком, расплющивая конец.

— Что ты там делаешь? — крикнул ему Тоби с другого конца помещения.

— Мейк факин тул, — ответил Фрэнк. — Делаю грёбанный инструмент.

«Факин тул» он сделал и возникшую проблему с его помощью решил.

Обязанности мои были, прямо скажем, не утомительны. Время от времени в комнаты, где шла работа, заглядывали Виктор или его зам. Если у американцев были какие-то просьбы, я переводил. А остальное время сидел на подоконнике у открытого окна — стояла жара погожего августа, — покуривал, смотрел, как Фрэнк и Тоби работают, и слушал короткие реплики, которыми они перебрасывались и которые я не всегда понимал, но с расспросами лишний раз не лез.

Работали они не торопясь, но без перекуров. Фрэнк за полдня выкуривал не больше двух сигарет, и то по ходу дела. Всегда на табуретке у окна лежал у них маленький плеер, из которого приглушённо звучала рок-музыка.

Но, конечно, разговоры у меня с ними, пусть и короткие, но были.

Я узнал, что Фрэнк успел в своих командировках немало поездить по свету. Работал, например, во Франции. «Понравилось? — спросил я. — У французов, говорят, кухня хорошая». Он дёрнул плечом: «Кукин

гуд, пипл шит». (Кухня хорошая, люди деръмо). Всё правильно, глубокомысленно подумал я, англосаксы с французами всегда жили как кошка с собакой... Фрэнк рассказал, что в прошлом, девяносто первом, был в Москве, где как раз застал события путча, видел на улицах много танков («мэни-мэни тэнкс»), но в толпу не полез, предпочёл отсидеться в гостинице, а потом вылетел в Казань.

— А в России что-нибудь понравилось? — спрашивала.

— У вас на улицах много красивых девушек, — отвечает.

— Где — в Москве?

— И в Москве, и в Хабаровске, и в Благовещенске.

— А что, в Америке красавиц меньше?

— Меньше.

«То-то!» — самодовольно подумал я, будто это не чьи-то, а мои девушки заполонили наши улицы.

Спросил про русскую водку. Он её одобрил: вери гуд.

— А что ты дома пьёшь, в Атланте?

— Ром с лимонадом.

— Вкусно? — поинтересовался я.

— Дёшево, — хмыкнул он.

У Фрэнка вызывали беспокойство не только обильные обеды в столовой. Номер, где их поселили, тоже, видимо, казался ему слишком большим. Он в первый же день, когда мы, пообедав, возвращались на ГТС, с озабоченным видом спросил меня, сколько это всё стоит. Я сказал, что не знаю, но наверняка ему ничего платить не придётся. Он недоверчиво покачал головой. И на другой день опять спросил, сколько это стоит — и еда, и проживание. Пришлось мне позвать Виктора.

— Но проблем! — похлопал его Виктор по плечу. — Это расходы фирмы.

Я перевёл. Фрэнка ответ, кажется, не убедил, хотя он больше такого вопроса не задавал. Я сказал ему, что Джим и Том не спрашивали, что здесь сколько стоит.

— Они что — правда миллионеры?

— Да, — кивнул Фрэнк.

— А у тебя есть миллион?

— Ноу! — Он даже хохотнул — настолько нелепым показался ему вопрос.

Тем не менее у него в Атланте был собственный двухэтажный коттедж. И небольшой участок земли вокруг. Я спросил: вы выращиваете возле дома овощи — редиску, лук, огурцы? Он сказал: «Нет, только траву. Я кошу её на газонокосилке. Жена сажает немного цветов — и всё». Хм! — подумал я. А что я ещё мог подумать? Моя семья только те овощи и видела, которые я привозил на автобусе с садового участка, за десять километров от дома. Такое было у нас время — тысяча девятьсот девяносто второй год: из всех житейских благ недостатка не было только в надеждах.

Говорили мы о разном и в целом понимали друг друга, но я всё так же с трудом разбирал на слух их беглую речь и, бывало, попадал впросак. Как-то Тоби сказал, что ходил на базар покупать ягоды. Какие ягоды? Малину? — спросил я. Он открыл плеер, вытряхнул на ладонь и показал мне две маленькие батарейки. То есть

«бэтэриз». А про «бэриз» (ягоды) он не говорил – это мне так послышалось.

А вот пример позабавнее. Стояла жара, и я предложил им сходить после работы на Амур – искупаться, но они отказались. Тоби – потому что в жару умудрился подхватить на сквозняке насморк, а Фрэнк сказал, что к нему сегодня придёт – я не разобрал кто. Какой-то «грол»... Кто-кто? – говорю. Он повторил. Я опять не понял. «Гроу»? – спрашиваю. Он, с досадой прикусив губу, произнёс загадочное слово в третий раз. «Кроу»? – страдая от собственной тупости, переспросил я и сам чуть не поперхнулся: «кроу» – это же ворона... Тоби расхохотался так, что даже раскашлялся. Фрэнк густо покраснел и – добродушнейший, в общем-то, мужик – с ненавистью сверкнул на меня глазами. До меня наконец дошло: «гёрл»! Девушка, значит, придёт.

Я, конечно, постарался всё в шутку перевести: мол, вот такой из меня переводчик, я же самоучка, пустая голова, ты уж прости, Фрэнк. Он, спасибо ему, долго на меня зла не держал. Только однажды спросил:

– Ты как английский учил?

– Книги читал со словарём. Английские романы, американские.

– Стивена Кинга? – оживился он.

– Нет. Кинга читал, но на русском, – признался я. – А ты его читал?

– Кино видел, – усмехнувшись, коротко бросил Фрэнк.

В первые же дни работы они попросили меня сказать Виктору, что им нужны инструменты Джима. Оказывается, Джим Келли оставил тут для них чемодан с какими-то инструментами. Я передал просьбу Виктору, тот кивнул: хорошо, я скажу, чтобы принесли.

Через несколько дней Фрэнк снова сказал:

– Уи нид Джимз тулз! (Нам нужны инструменты Джима!) – И потом почти ежедневно повторял мне эти слова как заклинание. Я ходил к Виктору, напоминал, он всё отмахивался: ладно, разберёмся.

Распределительный щит и ещё что-то предполагалось разместить на стенах. Пришёл Виктор с двумя нашими инженерами, стали вместе с американцами прикидывать, где что размещать. А Фрэнк снова за своё: нам нужны инструменты Джима!

– Да заперты они в кладовке, эти инструменты, а ключ не у меня! – с досадой сказал Виктор. – Спроси, что им конкретно нужно.

Оказалось, нужна дрель: сверлить стены под крепёжные болты.

– Только и всего? – пожал плечами Виктор и, уходя, сказал: – Сейчас пришлю вам дрель.

Рабочий принёс электродрель – нашу, отечественную. Фрэнк взял её, оглядел, поморщился. Подошёл к стене, упёр сверло в нанесённую карандашом точку и включил дрель. Долго, очень долго она раздирала уши воем и визгом – но на бетонной стене сверло оставило лишь неглубокую круглую ямку.

– Уи нид Джимз дрил! – хмуро сказал мне Фрэнк.

– Нам нужна дрель Джима!

Я пошёл к Виктору.

– Не берёт эта дрель бетон, – говорю. – А может, сказать им, чтобы пробили дырки шлямбуром? Я дома так делал...

– Какой шлямбур! – раздражённо бросил он. – Херней занимаются. Пошли!

Когда мы пришли к американцам, Виктор деловито поплевал на ладони:

– А ну-ка! – Взял дрель, нашёл глазами чуть заметную ямку на стене, сделанную Фрэнко. – Здесь, что ли, сверлить?

Дрель визжала, как осатанелая, Виктор весь напрягся в своём стремлении яростно и неудержимо вгрызаться в бетон. Да, мужичок он был крепкий, мускулистый, не то что рыхловатый Фрэнк... Но вот, выключив дрель, Виктор опустил её, выругался и вытер обильный пот со лба. Ямка на стене стала глубже от силы на три миллиметра. Фрэнк посмотрел на него и выразительно развёл руками.

– Ладно, – сказал Виктор. – Займитесь пока чем-нибудь другим.

Часа через два, уже перед самым обеденным перерывом, он принёс тот самый чемодан Джима с инструментами. Фрэнк достал оттуда дрель, объяснил, что она работает и как дрель, и как перфоратор, то есть не только сверлит отверстие, но и пробивает его. Такие ударные дрели сейчас есть у нас в любом магазине инструментов, а тогда... Виктор взял дрель, приставил сверло к многострадальной ямке в стене, нажал спуск. Раздалось урчание – и сверло послушно полезло вглубь бетона.

– Вот это да-а! – только и сказал Виктор.

Работа у Фрэнка и Тоби шла к концу, вопросов у них пока не было, а отпуск мой тоже заканчивался, и я отпросился у Виктора на три дня: съездить с семьёй к друзьям на дачу – отдохнуть, порыбачить. Известил об этом американцев.

– Окей, – кивнул Фрэнк.

– Удачной рыбалки! – сказал Тоби.

Мы с Натальей и Ваней провели три отличных дня на Зее. Погода стояла хорошая. Порыбачить, правда, не получилось, но мы вдоволь поплавали на вёсельной лодке, накупались в тёплой протоке и набрали много шиповника – чтобы было чем зимой подвигаться.

А в Благовещенске меня ждала неожиданность. Когда я вошёл в комнату, где работали американцы, то увидел гостью. Увидел – и обомлел.

Боже мой! Хоть и признавался Фрэнк, что в России много красивых, но таких и у нас не всегда встречаешь. Высокая пышноволосая блондинка в короткой юбочке, фигура умопомрачительная, ноги – дух захватывает, лицо – само совершенство, хоть богиню с неё пиши. «Жена какого-то начальника, – потрясённый, подумал я. – А может, сама – начальница...» Она стояла в глубине комнаты рядом с Тоби, который возился у раскрытошего шкафа с электроникой. А Фрэнк был поближе к дверям. Кивнув в ответ на моё приветствие, он коротко бросил:

— The translator. Back from China. (Переводчица. Вернулась из Китая).

Вот оно как... Значит, я больше здесь не нужен? Ну что ж, и слава Богу, догуляю последние дни отпуска. На садовом участке, опять же, работы полно...

Но какое тоскливое чувство потерянности и унижения испытал я в тот миг! Мало того что меня, жалкого самоучку, изображавшего переводчика, заменил настоящий профессионал, — так этот профессионал оказался ещё и ослепительной, эталонной красоткой, рядом с которой мне, бородатому, низкорослому, прокуренному, сиволапому, и находиться-то было неприлично.

Мне бы попрощаться и уйти, но я медлил, не в силах глаз оторвать от переводчицы. Дива, настоящая дива! А она, обращаясь то к Тоби, то к Фрэнку, беззаботно и весело говорила что-то по-английски. «Грейт уолл... Грейт уолл...» — уловил я. Ясно: рассказывала о своей поездке на Великую китайскую стену. Они кивали, не прекращая работы. Красавица, продолжая что-то рассказывать, протянула руку к металлическому шкафу и тут же, ойкнув, отдернула её. Кокетливо пожаловалась: «Май фингер вундед!» («Пальчик поранила!») — и показала палец Тоби, он покосился на него, что-то ей сказал — я не понял. Она звонко рассмеялась.

— Ну и как вам переводчица? — негромко спросил я Фрэнка.

— Talks much. (Разговаривает много), — так же негромко ответил он и поджал губы.

Я подошёл к красавице. Поздоровался, сказал, что вот, мол, пытался выдавать здесь себя за переводчика. Она любезно, хотя и холодно, ответила: «Ну что вы, они сказали, что вы их, в общем-то, устраивали». Я усмехнулся: «Да уж куда там...» Пожал на прощанье руки Фрэнку и Тоби, пожелал им успехов — и отправился к Виктору в кабинет.

— Понимаете, — начал он, — что-то молчит Хабаровск насчёт вашей оплаты...

— Но машину-то мне дня через два дашь? — говорю.

Машину он дал. Овощи с участка я домой перевёз — и на том спасибо.

Вот кожей чувствую, что читатель заинтригован: ну и что там дальше было у этой красотки с американцами? Ребята, клянусь вам: понятия не имею. Я там больше не появлялся, да и Фрэнк с Тоби наверняка вскоре уехали. Могу только предположить, что ничего там и быть не могло. Во-первых, она, как я краем уха слышал, была замужем. А во-вторых, я заметил, что они в её присутствии выглядели довольно пришибленно. Она подавляла их, с одной стороны, своей красотой (они же понимали, что им не по зубам такая королева), а с другой стороны — своей болтовней (им ведь работать надо было — сроки поджимали). В том же году я встречал её раза два в центре города и с тех пор не видел. Но город-то у нас маленький, так что она, вероятно, тоже уехала.

## 4. Тортик

Я намеренно нарушаю хронологию своего повествования.

Четвёртая моя встреча с американцами, о которой пойдёт речь, на самом деле была по счёту третьей. Состоялась она тогда, когда «свадебные генералы» Том и Джим уже уехали, а работяги Фрэнк и Тоби ещё не приехали.

Почему я решил рассказать о ней в последнюю очередь?

Ну, отчасти потому, что это снова были студенты из Калифорнии — проповедники веры бахаи. С бахаистов начал свой рассказ — бахаистами и закончил.

Но главная причина всё же другая. В моей переводческой, так сказать, деятельности, и вообще во всей моей практике познания английского языка эта встреча явила собой некое неожиданное подведение черты. Предварительный и, признаюсь, обескураживающий итог.

Так мне теперь кажется.

Эта новая группа калифорнийских студентов приехала в конце июля — через год после той, первой группы. Они, как и те, что приезжали в девяносто первом, тоже выступали в Доме молодёжи. И я встретил их тоже случайно, причём там же, на тротуаре возле университета. И тоже пригласил домой на ужин. Парень по имени Дэвид протянул мне брошюру на русском языке, но я попросил какую-нибудь на английском. Нашлась у него и такая.

Я к вечеру уехал на садовый участок, набрал овощей и ягод, накопал молодой картошки, а потом засел в своём садовом домике — бывшем строительном вагончике — и при свете свечного огарка долго читал брошюру, заглядывая в маленький карманный словарик. Брошюра называлась «*The Promise of World Peace*» («Обещание мира во всём мире»). Это было обращение к народам мира верховного органа веры бахаи — Всемирного Дома Справедливости. Мне хотелось набраться нужных слов и выражений, чтобы поговорить с гостями об их вере, — ни в коем случае не ради богословского спора, а всего лишь ради беседы как таковой, ради языковой практики, и не более того.

Но чем дальше я вчитывался в текст, тем больше шевелилось во мне чувство, будто что-то подобное уже было мною читано, причём давно, в комсомольской юности. Неожиданное сравнение пришло в голову.

Утром я привёз домой овощи и ягоды и отправился на работу.

Наталья к вечеру приготовила званный ужин. Уж она расстаралась! Гостями на ура были встречены и борщ со сметаной, и бутерброды с жареными баклажанами, и какие-то овощные, запечённые с сыром штучки, а особенно поданная к отварной картошке вкуснейшая овощная икра. Американки наперебой спрашивали её, как что готовится, и переводчик, улыбчивый спокойный парень из нашего пединститута, — его имя я, к сожалению, забыл, — обстоятельно переводил им ответы Натальи:

«...And then fry in oil» («...И затем жарить в растительном масле»).

Американок было две — светловолосая девушка лет двадцати пяти и совсем юная смуглая персиянка, — как их звали, я не помню. Из парней, кроме переводчика, были Дэвид, тот самый, что дал мне накануне английскую брошюру, и ещё один, имя которого тоже не могу вспомнить — даже лицо его совершенно выскочило из памяти, словно вовсе и не было за нашим столом этого второго американца. Хотя он был.

Дэвид, среди них самый старший — лет тридцати, — сообщил, что целый год прожил в израильском городе Хайфа, где находится бахаистский Всемирный Дом Справедливости, работал там садовником. Я сказал: да, там-то климат хороший, у нас здесь похуже. Он спросил: у тебя, наверное, есть «хот-хаус» — теплица? Я говорю: нет, не хот-хаус, а это... из пластиковой плёнки... — Я не знал, как сказать «парник». — «Шелтэр» (укрытие), — понимающе кивнул он. Когда на столе появились садовая земляника и малина, Дэвид попробовал и сказал, что у нас ягоды не такие крупные и красивые, как в Калифорнии или в Хайфе, зато вкуснее и ароматнее. Я удивился и спросил почему — он мне растолковал, и я помню, что понял его. Но что именно он мне растолковал и что именно я понял — решительно не помню.

Вот ведь какая штука: все прочие встречи с американцами мне до сих пор вспоминаются живо и в подробностях — лица, имена, ситуации, диалоги, — а из того вечера всплывает в памяти прежде всего моё собственное взвинченное состояние.

Гордый кулинарным успехом моей Натальи (а также, чего скрывать, тем, как эффектно она смотрелась даже в соседстве молодых девушек, — с блестящими глазами, вся сияющая от похвал, которые сыпались в её адрес), я непрерывно говорил с гостями, комментировал выставленные перед ними кушанья, что-то спрашивал, на что-то отвечал... А у самого в голове неотвязно и лихорадочно крутилось то, о чём я начал думать ещё ночью в садовом домике, мысленно выстраивая английские фразы, и продолжал думать днём, время от времени отвлекаясь от работы, чтобы поискать в словаре нужное слово.

И вот, когда гости напились чаю с вареньем, я обратился к Дэвиду, но громко, чтобы все услышали:

— Дэвид, ты вчера дал мне эту книжечку. Я её прочёл и хочу кое-что сказать.

— Да, конечно, — ответил Дэвид. Американцы притихли, с любопытством глядя на меня. Я повернулся к переводчику:

— Пожалуйста, переведи потихоньку для моей жены то, что я буду говорить. Чтобы мне не отвлекаться. Он кивнул. И я начал.

Свою речь, составленную на английском, я не записывал, но мысленно повторил её много раз. И всё же начал говорить не с задуманной начальной фразы, а — будто кто меня в бок подтолкнул — сымпровизировал маленькое предисловие:

— Вы знаете, вчера вечером я, собирая эти овощи и ягоды, работал допоздна на своём садовом участке, вдали от города, один среди полей и берёзовых рощ. А когда стемнело, и зажглись в небе звёзды, и закричала сова в ближней роще, я в своей маленькой хижине (hut) зажёг свечу (I lit my candle) и читал эту книжку всю ночь напролёт (all night through), и нечто удивительное открылось мне...

Тишина повисла за столом. Глаза американцев были устремлены на меня. Романтическая картина одиночества среди ночной природы произвела впечатление на этих жителей суперсовременного мегаполиса. Отлично! А теперь — сказать, что хотел. Не сбиться бы... Лиця почти не различал, весь сосредоточившись на том, чтобы внятно изложить на чужом языке свои соображения. Я произносил две-три фразы, а когда замолкал ненадолго для нового разбега, слышал негромкий голос парня из пединститута, переводившего мою речь для Натальи.

— Вы знаете, — сказал я, — что у нас была атеистическая страна. Я, как и все, воспитывался в духе отрицания Бога. Но я не могу назвать себя атеистом. Более того, я считаю, что неверующих на свете нет. Их просто не существует. Ни одного! Все люди — верующие.

Дэвид поднял брови, выразив сомнение.

— Пойми меня правильно, Дэвид! — загорячился я, отчаянно стараясь не соскользнуть со своих шатких английских фраз. — Я вовсе не про то, что если кто-то не верит в Бога, но верит в науку, то он тоже верующий. И если кто-то верит в то, что Бога нет, — то и он как бы верующий. Нет, это не то. Я имею в виду веру именно в непознаваемую высшую силу — называйте её Богом или как хотите. Не верить в неё — противоестественно. Мы все от рождения верующие (innate believers). Для младенца эта высшая сила заключена в маме. А взрослый, кем бы он себя ни считал, когда настаёт для него страшный час и неоткуда ждать помощи, кричит: «Мама!» или «Господи!» — да что угодно он может кричать, но крик его всегда обращён к высшей силе, к чему-то неведомому, но сверхмогущественному. И это естественно.

Я сделал паузу, чтобы посмотреть, как на мою длинную и довольно сбивчиво произнесённую тираду отреагирует Дэвид (других я в горячке не видел — лица плыли передо мной как в тумане). Он кивнул, вроде бы выразив на этот раз согласие.

— Теперь о вашей вере. А точнее, об этой вот книжечке — «Обещание мира во всём мире». Я читал её и соглашался практически со всем. Но многое из написанного показалось мне знакомым. И знаете — я вспомнил, где читал подобное...

Я снова сделал паузу, обвёл плохо видящим взглядом публику (кажется, они сидели с открытыми ртами) и задал вопрос:

— Сказать вам где?..

— O yes, of course! — Дэвид, сосредоточенно слушавший, даже вздрогнул от этого неожиданного перехода от монолога к диалогу. — Да, конечно, это интересно.

— А вы не обидитесь? — усилил я свою лукавую риторику.

— Why? (Почему?) — пожал он плечом.

— Ну хорошо. Я продолжаю. Наша страна, вы же знаете, была не только атеистическая, но и коммунистическая. А вы с детства слышали, что коммунизм – вредное, ложное учение и что коммунисты сделали много плохого. Так вот. Тридцать лет назад эти атеисты и коммунисты написали документ. Он назывался «Программа Коммунистической партии Советского Союза». И представьте себе, там очень многое совпадает с тем, о чём говорит ваша книжка. Я не шучу – очень многое! Мир во всём мире. Равноправие мужчин и женщин. Ликвидация пропасти между богатыми и бедными. Всеобщее образование. И конечная далёкая цель: все народы планеты – нашего общего дома, – сохраняя национальное своеобразие, живут единой семьёй. «Unity in diversity» («Единство в многообразии») – очень хорошо в вашей книжечке сказано. Только у вас считается, что всё человечество должна объединить вера в единого Бога, а у коммунистов – вера в коммунистический идеал.

Я замолчал. И американцы молчали – как-то недумённо и неловко. Видно, их всё же покоробило сравнение их веры с коммунистическим учением. Я усмехнулся:

— Коммунистическая власть свою программу провалила. Замыслы были хорошие, но много глупых и даже страшных ошибок было сделано – поэтому в мире и не любят коммунистов. – И добавил известное крылатое выражение, которое, как мне думалось, они должны были знать: – *The road to hell is paved with good intentions.* (Благими намерениями вымощена дорога в ад).

Сдержаный Дэвид расплылся в невольной улыбке, весело тряхнул головой, другие тоже заулыбались, кто-то даже в ладоши хлопнул. Возможно, они сочли, что данный афоризм я вставил очень кстати. Но подозреваю, что, скорее всего, эта молодёжь просто услышала его впервые. Как бы там ни было, а обстановка разрядилась, и я приступил к заключительной части. Нужно было закончить эту мою то ли речь, то ли проповедь так, чтобы между нами не осталось недоразумений.

— Я благодарен вам и вашим друзьям, которые приезжали в прошлом году, за деликатность. Да, да, за деликатность. За то, что вы ни разу не предложили мне стать членом общины бахаи. Ведь я вынужден был бы отказаться. Знаете почему?

Никто не ответил, но молчание было наэлектризовано любопытством.

— Наша Россия, прежде чем стать коммунистической, тысячу лет была христианской страной. И православное христианство никуда не делось, хоть его и изгнали, насаждая атеизм. Я тоже считал себя атеистом. Но потом понял, что и во мне живёт врождённая вера в высшую силу, хочу я того или не хочу. Конечно, я сильно сомневаюсь, что эта высшая сила имеет обличье седобородого христианского Бога. И в церковь я не хожу, и обряды не соблюдаю. Но я вырос в русской культуре, которая вся пронизана традициями православия. Это и архитектура наших церквей, и наши старинные календарные праздники, наши сказки, пословицы, литература, живопись. Это всё мое, это всё во мне, и это для меня важнее любых религиозных постулатов. И хоть я знаю, что вы признаёте Христа как одного из пророков единого Бога, но

всё равно для меня стать бахаистом – то же, что стать предателем (to become a traitor).

Вот таким словечком я хлестанул напоследок.

И тут же сделал примирительный завершающий аккорд:

— Но учение Бахауллы несёт добрые идеи. Я их искренне разделяю. Поверьте, мы с вами – родственные души. (We are kindred spirits). И я желаю вам успешно продолжать ваше служение добру (your service of good).

Сказав это, я протянул руку Дэвиду, как старшему из них, он охотно ответил на рукопожатие. Мне показалось, что он был даже немного взволнован. Да и остальные гости тоже находились под заметным впечатлением от услышанного.

Мы ещё попили чаю, поговорили о разном, хотя вопросов религии уже не касались. Когда гости ушли, я спросил Наталью:

— Ну и как тебе мой спич?

— Раскукарекался, философ, – насмешливо ответила жена. – А они уши развесили.

Я довольно хмыкнул. Спорить не стал.

Интересное дело: если бы эту мою речь, слово в слово, произнёс за меня кто-то другой, я бы, пожалуй, мало что разобрал на слух. Да почти ничего бы не разобрал, если честно. Так что я в некотором смысле действительно кукарекал. Однако ведь сказал, что хотел, и они, кажется, всё поняли. Ну да ладно, проехали, как говорится.

Но оказалось – не проехали...

Когда на другой день я явился домой на обед, Наталья сказала:

— У нас гости. Только что пришли. Иди к ним, я пока чай приготовлю.

В гостиной, за тем же столом, на котором вчера был накрыт званный ужин, сидели две девушки. Одну из них – постарше, полноватую блондинку, – я прежде не видел, а вторую... Вторую видел. Это была одна из вчерашних американок – юная персиянка...

Она поднялась со стула, гибкая, лёгкая, и, прижав руки к груди, быстро заговорила, глядя на меня огромными чёрными глазами и от смущения краснея. Куда уж краснеть – и так смуглёнка... Не переставая говорить, с неловкостью повела рукой на стол. Там, в картонной коробке со снятой крышкой, красовался тортик, сияющий сливочными розочками...

Я, в общем-то, понимал, что она говорит, но слова пролетали, не задерживаясь в сознании. Я ошарашенно смотрел, как из вчерашнего вечернего тумана, в котором плыли и тонули лица моих слушателей, вдруг, словно благодаря какой-то волшебной фокусировке, пропустило это взволнованное, с несмелой улыбкой, юное лицо... Вчера, когда знакомились, она сказала, что ей двадцать. И имя своё называла...

Двадцать пять лет прошло. Ровно четверть века... Как же её звали-то? Силясь вспомнить, лезу в интернет, нахожу список персидских женских имён, просматриваю. Кажется, в имени был звук «Ш»... Может быть, Шайгуль – «царский цветок»? Или Шадия – «весёлая»? Фаршат –

«радостная»? Шахру – «сладкая?» А, собственно, был ли он в её имени, этот звук «Ш»? Может, он застрял в голове оттого, что я потом, мысленно подшучивая над собой, вспоминал эту персиянку как «шамаханскую девицу» – по пушкинскому «Золотому петушку»?.. Ладно, пусть будет Шадия...

– Извините нас за вторжение, – услышал я русскую речь. Это заговорила полноватая блондинка. – Я у них за переводчицу, и Шадия сегодня буквально силой затащила меня сюда. Дом и номер квартиры она запомнила, но языка-то не знает. Она в таком восторге от вчерашнего приёма! Захотела поблагодарить. – Переводчица кивнула на тортик. – Ну, мы вашей жене уже всё объяснили...

– Окей, вери гуд, – наконец заговорил и я. – Уилю хэв динэ? (Обедать будете?)

– О, нет, нет! – Шадия испуганно замахала руками. – Только чай.

– А вы сами обедайте, не обращайте на нас внимания, – сказала переводчица. Её, помнится, звали Ольгой.

– Нет, – сказал я. – Слишком жарко сегодня. Тоже попью чаю.

Неужели я сел бы сейчас хлебать борщ? Не та была ситуация.

Наталья внесла чашки, чайник, вазочки с вареньем. Я резал тортик и с весёлыми комментариями раскладывал ломтики по тарелочкам, развязной любезностью маскируя нешуточное чувство неловкости. Сели пить чай. Я испытал облегчение, когда Шадия снова принялась горячо нахваливать вчерашний вкусный ужин, тёплую атмосферу вечера и, главное, радушную хозяйку, такую умелую повариху и такую красивую женщину.

– Мне было очень хорошо у вас, – сказала она.

Разговор постепенно оживился. Мы стали спрашивать, куда их группа поедет дальше. Оказалось, дальше был Улан-Удэ, потом какой-то сибирский город, а потом Украина. Я, опять оседлав своего вчерашнего конька красноречия, стал рассказывать о нашей огромной России, где на севере над ледяными просторами полгода царствует ночь и полыхает северное сияние (northern lights), а на юге есть тёплое море, есть горная страна Кавказ (по-английски, кстати, Caucasus звучит смешновато – «Кокасэс») с роскошной южной природой, и там живут красивые смелые люди, настоящие рыцари (real knights). Шадия никогда не слышала о Кавказе. Пройдёт чуть больше двух лет – и мир узнает, что есть на свете и «Кокасэс», и «Чечниа», но тогда это всё, включая «Юкрэйн» (Украину), была моя страна, и я пел ей лихорадочные гимны, глядя в благодарные и восторженные глаза шамаханской девицы.

Чай да чай – сколько можно пить? Пересели от стола кто на диван, кто в кресло. Наталья стала уносить посуду на кухню, отказавшись от помощи девушек.

– Вы вчера так замечательно говорили, – сказала Шадия, опять краснея. – Это всё было ново для меня. Я много думала о ваших словах.

– Спасибо, – сказал я.

Помолчать бы тут обоим. Но следовало развлекать гостю непринуждённой болтовней. А лучше – умной беседой. И я сказал:

– А вы знаете, чем удивила меня ваша религия? В ней всё как-то рационально, никакой мистики.

– Что вы! – порывисто возразила она. – Вы, наверное, судите по этой книжечке, но это же просто официальный документ. Вам бы почитать сочинения самого Бахауллы. Там есть и мистика, и красивая поэзия.

– Может быть. А ещё мне показалось, что ваше учение слишком уж миролюбиво. Сверх меры.

– Это не так! – возразила она. – Бахаулла учит стойкости и борьбе.

И вдруг, глянув на меня с улыбкой, звонко продекламировала:

– When the swords flash, go forward! When the shafts fly, press onward!

Это явно были стихи, но смысл их слишком слабо выяснился для меня. По моей просьбе она повторила... Так... «Когда мечи сверкают, иди вперёд! Когда...» – Тут я споткнулся.

– А что такое «шэфт»?

– Это... – она растерянно посмотрела на меня. – Ну, шафт... – И показала рукой, будто бросает что-то, – таким по-женски неловким жестом.

Я спросил у переводчицы Ольги, но та никогда не слышала этого слова.

– Spear? Arrow? (Копьё? Стрела?) – спросил я. Шадия виновато улыбнулась:

– May be. (Может быть).

Ну что взять с женщин... (Вечером, открыв словарь, я узнал, что «шэфт» – это и копьё, и стрела. Устаревшее, поэтическое).

И вот, спустя четверть века, я лезу в интернет. Долгие поиски дают результат. «Огненная скрижаль» Бахауллы. Разговор пророка с Богом. Мощная восточная поэзия. А вот и та строка – в красивом переводе:

«Когда блестит булат, иди вперёд! Когда свистит стрела, тесни врага!»

Я сказал: хорошо бы почитать на английском брошюру, где подробно излагается учение бахаи. Шадия сказала: я принесу вам такую книжку! И заговорила что-то, умоляюще глядя на меня, но говорила так быстро, что я опять почти ничего не понял и повернулся к Ольге. Та перевела: завтра группа уезжает в аэропорт, садиться на автобус будут возле универмага, в такое-то время, и надо, чтобы я пришёл к автобусу, это очень важно, она будет ждать.

Они распрощались и ушли, хотя видно было, что Шадия не очень-то рвалась уходить, но Ольга торопила её, говоря, что им пора. А Наталья не удерживала. Она этот визит никак не комментировала и никогда о нём не говорила. А о чём, собственно, говорить? Ну, посидели, тортик покушали. Визит вежливости, обычное дело.

На другой день я пришёл к указанному времени. На автобусной остановке собрались американские студенты. Я пожал на прощанье руку Дэвиду, ещё двум трём американцам и подошёл к Шадие. Она стояла, дер-

жа в обеих руках довольно толстую брошюру в тёмно-зелёной обложке из плотной глянцевой бумаги.

— Вот книжка... для вас, — сказала она, запинаясь и краснея. — Только... вы извините за это... — Она провела пальцами по обложке, где в тёмно-зелёном сплошном фоне светлела плеши — типографский брак.

— Какой пустяк! — ответил я. — Большое спасибо.

Взял брошюрку, пролистнул страницы веером,  
закрыл.

— Вы знаете, — тихо сказала она, — я так рада, что встретила вас. Я никогда прежде не видела такого человека, как вы. (I've never seen a man like you before). — И, помолчав, добавила: — Это правда. (It's true).

Вот оно как. Я стоял и смотрел на неё – а что было мне сказать?

Наверное, со стороны мы смотрелись, как дедушка с внучкой.

Подошёл автобус, студенты с баулами бросились к нему. Шадию окликнули, она не отозвалась, всё глядела мне прямо в глаза.

— Good girl! — тихо сказал я. — Хорошая девочка!

Улыбнулся и пожал её узкую ладошку.

Она подхватила свою сумку и бросилась к автобусу, затерялась в толпе у автобусной дверцы. Так я и не увидел её больше. Автобус уехал, а я всё стоял на остановке.

А потом начал смеяться. Это был глухой, почти неслышный смех.

# Смех для внутреннего употребления.

Переводчик! Знаток английского. Да ещё и крупный философ. И даже богослов...

Нет, послушайте, как он излагает! Как он заливается на языке, которого не знает... Как своим разудальным кукареканьем влюбляет в себя простодушных юных персиянок!..

И вдруг из невообразимой дали времён, из полу-  
забытого школьного прошлого донёсся ко мне сюда, на  
залитую солнцем автобусную остановку, издевательский  
возглас:

— Арти-и-ист!

Да, он оказался прав, мой давний школьный учитель английского языка по прозвищу Чанин, – сокращение от «англичанин». Он и сам не знал, насколько справедливо наградил меня тогда на уроке этой словесной оплеухой.

Не вышло у меня овладеть английским языком. Вышло лишь сыграть роль владеющего им. Явить себя артистом – и не более того.

А может, если окинуть взглядом прожитую жизнь, это касается не только английского?..

Ладно, не будем ныть. Что вышло, то и вышло.

Август 2017 г.